



Отец мой шахтёр

Валерий Залотуха

лауреат национальной
литературной премии
«БОЛЬШАЯ КНИГА»
2015

Самое время!

Валерий Залотуха

Отец мой шахтер (сборник)

«WebKniga»

2016

Залотуха В. А.

Отец мой шахтер (сборник) / В. А. Залотуха — «WebKniga»,
2016 — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1465-4

Роман «Свечка» сразу сделал известного киносценариста Валерия Залотуху знаменитым прозаиком – премия «Большая книга» была присуждена ему дважды – и Литературной академией, и читательским голосованием. Увы, посмертно – писатель не дожил до триумфа всего нескольких месяцев. Но он успел подготовить к изданию еще один том прозы, в который включил как известные читателю киноповести («Мусульманин», «Макаров», «Великий поход за освобождение Индии»...), так и не публиковавшийся прежде цикл ранних рассказов. Когда Андрей Тарковский прочитал рассказ «Отец мой шахтер», давший название и циклу и этой книге, он принял его автора в свою мастерскую на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Студенты Залотуха и Кайдановский год ждали возвращения мастера из Италии. Но не дождались.

ISBN 978-5-9691-1465-4

© Залотуха В. А., 2016

© WebKniga, 2016

Содержание

Елена Лобачевская. Несколько слов об этой книге	6
Рассказы	7
Отец мой шахтер	7
Деревья	11
Молитва	13
Школьные истории	14
* * *	14
Санька и Деря	14
Последний костер	19
О любви	21
Тамара	23
Вечером после работы (Мужское счастье)	30
Воспоминания о детях (Женское счастье)	41
Встречи с отцом	44
Памяти моего отца	48
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Валерий Залотуха

Отец мой шахтер

© Валерий Залотуха, наследники, 2016

© Валерий Калныныш, оформление и макет, 2016

© ООО «Издательство «Время», 2016

* * *

Памяти отца



Елена Лобачевская. Несколько слов об этой книге

– Я теперь главный редактор в киевском издательстве! Валер, давай напечатаем твою книгу! – предложил мой однокурсник по ВГИКу Андрей Дмитриев, придя к нам домой.

– Давай, – откликнулся мой муж Валерий Залотуха. – Я как раз хотел собрать книгу памяти отца. Название есть – «Отец мой шахтер».

– Отлично! – обрадовался Дмитриев. – На Донбассе хорошо пойдет! С таким названием тираж можно будет приличный сделать. «Мусульманина» напечатаем, «Макарова»...

– «Последний коммунист» и «Великий поход за освобождение Индии», – предложила я. – Они с каждым днем все актуальней.

На том и порешили. Зимой 2013-го.

Валера очень хотел, чтобы эта книга вышла. Главный свой роман – «Свечку», который писал двенадцать лет, он посвятил памяти мамы, а этот сборник, открывающийся самыми первыми его рассказами о поселке Шахта 5/15, – памяти отца. Он очень любил своих родителей, всегда заканчивал телефонный разговор с ними словами: «Не болейте, не старейте». А они вдруг резко постарели, заболели и друг за дружкой умерли. Их смерть Валера так и не смог пережить, не смог принять и смириться. Очень хотел приехать на родину на годовщину смерти отца и подарить всем соседям эту книгу. Но Андрей Дмитриев молчал. Директор издательства «Время» Алла Гладкова читала «Свечку», читала долго и тоже молчала. Мы сходили с ума от нервного напряжения.

Когда «Свечка», которую Валера писал двенадцать лет, наконец вышел в свет в издательстве «Время», он был уже серьезно болен.

– Может, ты поговоришь с Аллой и насчет второй книги, – попросил он меня.

– Неудобно, – сказала я. – Вот если б они сами предложили...

Когда Валера умер, я прочла в фейсбуке очень хороший отзыв Андрея Дмитриева о «Свечке» и позвонила ему в Киев.

– Я ведь так и не смог пробить Валерину книгу, – сказал Андрей.

– Чего же не позвонил?

– Да все надеялся, что удастся...

Через несколько дней позвонила Алла Гладкова и предложила издать избранное Валерия Залотухи. Сказала, что люди прочтут роман «Свечка» и им наверняка станет интересно: а что еще написал этот автор?

Я ответила, что книга эта уже два года как собрана.

Я обязательно поеду на родину Валеры, подарю книги его соседям, пойду на могилу его мамы и папы и расскажу им, как сильно любил их сын, как бесконечно много значили они в его жизни и как я благодарна им – Анастасии Федоровне и Александру Павловичу за их доброго, красивого, талантливого сына, с которым я прожила в любви и согласии двадцать четыре года семь месяцев и семь дней.

Елена Лобачевская

Рассказы

Отец мой шахтер

Была осень, ранняя и холодная, и мне даже кажется, что у матери слезы замерзали на щеках, хотя я понимаю, что этого быть не могло, не так уж было и холодно, нет, холодно конечно, но не зима ведь была, да если бы и зима, все равно, зимой слезы не замерзали, наверное, их вообще не было, должны же они когда-то кончиться: те две недели, что я пробыл дома, она плакала и плакала, и сейчас плакала опять. Когда человек так плачет, о нем говорят – рыдает. Она рыдала без слез, обнимая меня, прижимая к себе. Это было мне не очень приятно, потому что все останавливались и смотрели на нас и никто не входил в вагон, забыли даже, что едут. Мать рыдала и что-то быстро говорила, причитала, кажется: «Солнышко мое, радость моя, как же я без тебя буду! Как же я без тебя буду!» – как будто я уже умер и меня нет. Отец мой все успокаивал ее, а в конце даже заругался, сначала на людей, а потом на мать. После этого она замолчала и отпустила меня, и мы поднялись по ступенькам в вагон. Мы пошли в свое купе, поставили чемодан и посмотрели в окно. Мать все стояла внизу и смотрела на меня, подняв голову вверх. Была осень, ранняя и холодная. Платок упал у матери с головы и лежал на мокром грязном асфальте, а ветер шевелил ее нерасчесанные волосы и полы старого незастегнутого плаща. Отец показывал рукой, чтобы она подняла платок, а она не поднимала, а все смотрела на меня, стоящего за закопченным оконным стеклом. И когда поезд тронулся, она побежала рядом с вагоном, как бегают рядом с вагоном в кино, только она не так как-то бежала, по-другому, мама была некрасивая, жалкая. А когда асфальт кончился, она шагнула как будто в открытый погреб, как будто не было под ногами больше земли, и упала, взмахнув руками. Отец мой видел это (я видел, как отец мой видел это), лицо его дернулось, он резко встал и, рванув сильно дверь купе (я видел его лицо в зеркало на двери), вышел.

Я остался один. Сел на кожаное сиденье. Посмотрел в окно. На улице пошел дождь. Он оставлял на стекле быстрые длинные полосы, сыпал мелкие холодные капли на все, что было за окном: на голые жалкие деревья, на серые двухэтажные дома, на черные терриконы, на закопченные заводи, на набухшую от влаги склизкую землю, привыкшую терпеть.

А в купе (мне нравилось это слово) было тепло и уютно. Вагон тихонько покачивался, колеса стучали, и мне хотелось ехать и ехать вот так всю жизнь, слушать, как стучат колеса, и смотреть, смотреть в окно. Вот это была бы жизнь! А еще можно забраться на верхнюю полку и смотреть оттуда в окно, и я быстро забрался наверх и, лежа на животе, посмотрел в окно, потом перевернулся на спину и посмотрел немного на пластмассовый потолок, потом попробовал повключать лампочку, но она не горела, потом... вошел отец.

– Ну что ты всю пыль собираешь, – сказал он устало, – вот сейчас возьмем постели и лежи сколько хочешь.

Я спустился и сел внизу. Конечно, я мог сейчас делать, что хотел, отец бы, наверное, даже не заругался, но я здорово боялся отца, даже недолюбливал, хоть он меня и не бил. (Вообще-то, раза три или пять ремня он мне давал, но не стал бы он мне сейчас давать ремня.) Я все же послушался его и сел внизу, напротив отца.

Отец молчал. Он думал о чем-то. Я знал, конечно, о чем он думал, вернее, о чем он мог думать. А может, он просто так сидел и просто так смотрел на гладкую пластмассовую поверхность столика. Мне нечего было делать, и я стал незаметно рассматривать отца. Я вообще любил людей рассматривать, а отца особенно любил рассматривать, когда он брился. Он кипятил на электроплитке воду в чайнике, наливал кипяток в пол-литровую стеклянную банку, старую-старую, с серыми боками от засохшего мыла и прилипших сбритых волос, окунал в воду

помазок, тер его об лежащий в мыльнице кусок хозяйственного мыла и намыливал лицо. Потом доставал из бумажной коробочки станок (он всегда так говорил) и начинал бриться. Борода у него росла быстро, и волосы были очень жесткие, поэтому бриться было трудно. Я пристраивался с другой стороны стола, за зеркалом, и смотрел, как отец корчит рожи (на самом деле он не корчил, конечно, рожи, просто так ему было легче бриться). Было очень смешно, и я сам начинал корчить рожи, пока он меня не прогонял.

И сейчас я сидел напротив и рассматривал его лицо. Отец мой – шахтер, поэтому цвет лица у него какой-то серый, трудно даже с чем-либо сравнить. Подбородок и губы самые обычные, только над губой шрам. Это жеребенок разбил ему копытом, когда отец мой был еще маленький и жил в деревне. Бабушка (мать отца) думала тогда, что все лицо изуродует, но ничего, обошлось, вот только шрам остался. Нос у отца был большой, чуть крючковатый, и щеки большие, а глаза маленькие. Они у него не такие уж и маленькие, просто глубоко спрятаны, так глубоко, что даже цвет их не разглядишь. Зато брови у него большие, лохматые, рыжеватого цвета (мать, когда шутила, называла их прусаками). Лоб у отца большой и прямой, а на нем три глубокие и неподвижные морщины. Волосы у отца обычные, серые, что ли, но зато очень густые и жесткие. Отец все время зачесывает их наверх, а они все время падают вниз.

Я рассмотрел его всего, за окном уже стемнело, и делать мне было нечего.

– Есть хочешь? – спросил отец.

– Нет, – ответил я.

– Пойдем, а то потом захочешь.

– Ты иди, – предложил я, – а я потом захочу, потом и пойду.

– Ну, посиди здесь, а я скоро приду.

Он вышел, а через некоторое время поезд остановился и в купе вошли двое: мужчина и женщина. Почему-то они были совсем без вещей, только женщина держала в руке маленькую сумочку.

– Здравствуйте, – сказала она.

– Здравствуйте, – сказал я.

А мужчина ничего не сказал, он помогал женщине снять плащ.

– Ты один? – Я даже вздрогнул – как неожиданно и зло он спросил.

– Нет, с отцом.

Он ничего не сказал и начал снимать плащ. Женщина села и посмотрела на меня. Мужчина тоже сел и тоже посмотрел на меня.

– И далеко ж вы едете с отцом? – спросил он.

– Далеко... в Москву. Еще целую ночь ехать.

– А мы скоро выходим, – сказал он и посмотрел в черное окно.

– Вы в Москве живете? – спросила, улыбаясь, женщина. (Она была красивая и мне сразу понравилась: лицо белое, с родинкой на щеке, губы ярко-красные от помады, глаза большие и волосы каштановые, пышные, под блестящей косынкой. А мужчина мне не понравился: с лысиной, хоть и не старый, пухленький такой и злой. Такие люди всегда злые.)

– Нет, – ответил я, – мы не в Москве живем. Мы в поселке живем, на шахте. Отец мой – шахтер, вот мы там и живем. – Мне хотелось поговорить с этой женщиной, поэтому я продолжал: – Мы в институт едем, к профессору Новиковскому, не слышали про такого?

– Нет, не слышала, – ответила женщина, улыбнувшись.

– Это врач такой известный, онколог, – объяснил я. – У меня рак врачи признали, и мы едем к нему на операцию.

Мне хотелось поговорить с ней побольше, поэтому я сказал правду. Я видел, как изменилось ее лицо, знал, что оно так изменится, потому что видел это уже не раз. (Отец мне запретил говорить об этом, когда я сказал ему, что слышал, как говорили про меня в больнице медсестры и про то, что у меня рак. Но весь наш дом и все на нашей улице знали, что у меня рак

и меня отправляют в Москву на операцию.) Я знал, что скажет женщина. Она скажет: «Такой маленький, господи».

– Такой маленький, господи... – сказала она и начала качать головой, глядя на меня. – И сколько же тебе лет? – спросила она наконец.

Я ответил, что мне двенадцать лет и что я учусь в пятом классе, только в этом году я еще не учился, потому что лежал в больнице, и понял, что зря сказал правду. Теперь нам не о чем было говорить. Если бы я был взрослым, то мы, наверное, поговорили бы о болезни и о том, что раньше такой болезни и не знали, а с маленьким о чем разговаривать...

– А где же твой отец? – спросил мужчина.

– Он поесть пошел в вагон-ресторан, а мне что-то не хочется.

Он замолчал, и женщина молчала, смотрела на меня и качала головой.

– Может, ты сходишь к отцу своему... – сказал мужчина.

Женщина взглянула на него недовольно.

– Ага, – согласился я, встал и вышел из купе.

Дверь за мной закрыл мужчина и щелкнул замком.

– Зачем ты так, Василий, – услышал я голос женщины, – мальчик больной, так нельзя!

– Да, но сколько я ждал этого дня, Лера, – проговорил он скороговоркой.

– Все равно нельзя.

– Но Лера...

– И вообще, этот поезд. Лучше бы ты номер в гостинице снял.

– Ты с ума сошла, меня же все в городе знают. Это единственное место, и у нас всего лишь час.

– Нет, здесь я не могу. Если бы мы были одни...

– Но мы же одни.

– А мальчик?

– Он не придет, не бойся.

– Нет, придет, я так не могу.

– Лера, ну не упрямысь, ведь ты же обещала, я столько ждал этого дня.

– Мало ли что я обещала, женщина многое может обещать.

– Но Лера! – даже вскрикнул он.

Потом они замолчали, но немного погодя вновь заговорила она, уже по-другому.

– Разве ты не понимаешь, как это трудно. Ведь я же мать, у меня семья. Разве ты не понимаешь, что у меня это в первый раз!

– У меня тоже семья, – раздался его обиженный голос, – может, мне тоже трудно.

– Тебе трудно?! – спросила женщина.

– Нет, Лерочка, ты меня неправильно поняла, любимая! – взмолился мужчина.

Она громко засмеялась, так громко, что казалось, двери всех купе распахнутся и из них выйдут люди. Но двери остались закрытыми и никто не вышел. Смех из громкого превратился в тихий и мелкий.

Я отошел от двери и направился в вагон-ресторан к отцу, стараясь держать равновесие, потому что вагон здорово качало.

Отец мой сидел за столом. Перед ним стояла тарелка с нарезанным соленым огурцом, стакан и пустой прозрачный графинчик. Он увидел меня и обрадовался.

– Сынок, – сказал он, – а я уже собирался к тебе идти. Садись сюда, – показал он на стул рядом с собой. Я сел. – Проголодался? – спросил он и сразу же прибавил: – Чего ты хочешь?

Я ничего не хотел, и он сам сказал за меня подошедшей официантке:

– Винограду. Три килограмма... и двести грамм еще. – Он показал на графинчик.

Официантка неодобрительно качнула головой и через некоторое время принесла большой кулек с виноградом и графинчик с водкой.

– Нам надо побыть здесь час, – сказал я.

– Хорошо, – ответил отец, почему-то ни о чем не спросив.

Он налил себе в стакан водки и выпил. (Отец мой пил как все шахтеры, наверное, это много, но пьянел меньше других.)

Виноград оказался очень вкусный, ягоды большие и желтые, сладкие. Я обрывал кисточку, клал виноградины в рот и смотрел в окно. Дождя уже не было, мы проехали его. Было черное небо и бледные мигающие звезды. Поезд постукивал тихо и спокойно. В вагоне-ресторане, кроме нас, никого не было, или мне это показалось, не помню.

– Пап, расскажи что-нибудь, – сказал я.

Отец вздрогнул. Я первый раз просил его рассказать вот так что-нибудь. На войне он не был, потому что сам тогда еще был пацаном. Я страшно завидовал тем, у кого отцы были на войне и теперь рассказывали им разные истории. О чем он мог мне рассказать?

Он долго молчал. Может пять, может десять минут. А может, больше. Его большая квадратная ладонь лежала на столе без движения. У него на руках было много разных шрамов и царапин. Иногда я спрашивал у отца про них, но он не любил говорить об этом и убирал руки. Я провел по одному длинному и тонкому шраму пальцем и спросил:

– Где это?

– Что? – он непонимающе смотрел на свою руку. – А-а, это... Это когда я еще сам такой, как ты, был. Лазили мы к деду одному, дед Гришка был такой, в сад за яблоками, яблоки у него были крупные такие. Он нас как-то подсторожил и поймал одного. Я – на забор, а там проволока была колючая, я спрыгивал и зацепился рукой.

– А эти вот, на пальцах?

– Эти... – вспоминал отец, – это мне в шахте. А ты не помнишь разве, я тогда дома сидел, бюллетенил. Калмыжка отвалилась и сначала по носу мне попала, а потом по руке. Да, это в шахте, – убежденно произнес он. А потом положил мне руку на плечо и прижал к себе крепко-крепко.

Мы просидели так долго.

Когда мы вернулись в свое купе, там никого не было. Отец принес простыни, наволочки и одеяла и постелил наверху и внизу. Я боялся, что отец не разрешит мне спать наверху, но он даже ничего не сказал.

Наверху было хорошо. Я спрятался под одеялом и представил себя на необитаемом острове в теплом шалаше. Потом я вспомнил про мужчину и женщину и подумал, где они были, наверху или внизу. Потом вспомнил медсестру Таню из нашей районной больницы, где я долго лежал. Она очень меня любила, больше всех, и я ее любил и сказал, что женюсь на ней, если не умру... Я много думал о смерти. Иногда было страшно, иногда нет. Это ведь как смотреть. Смерть – это когда тебя нет. Но ведь до моего рождения меня не было. Значит, я был мертвый? И ничего, нормально все было. А с другой стороны...

Я проснулся под утро, когда светало, посмотрел вниз и увидел, что отец сидит за столом, сжав голову руками так, что ногти были синими, и услышал, как он воет, тихо и очень горько, наверное, так воют волки, когда их окружают и собираются убить...

И я опять заснул.

В Москве меня долго проверяли, и профессор Новиковский сказал, что никакого рака у меня нет, а есть какая-то чепуховина, о которой и рассказывать не хочется.

На вокзале, когда мы уезжали из Москвы, отец был пьяный. Он шел и целовал наш поезд, грязные стены вагонов, двери, окна. Все люди смотрели на него, показывали пальцами и смеялись, а он целовал, целовал, целовал... Отец мой...

27 февраля 1975

Деревья

Наши отцы были шахтерами. Тогда, в детстве, казалось, что они всегда жили здесь и всегда были шахтерами, а потом появились мы, чтобы видеть это сероватое небо, укрывшее собой, словно добрыми ладонями, нашу серую землю, наши дощатые дома и бесчисленные острые вершины терриконов, чтобы дышать кисловатым, с запахом жженого угля воздухом.

Но не всегда наши отцы были шахтерами, у них было свое детство в брянских и калужских деревнях, а сюда, в Подмосковье, они приехали сразу после войны, чтобы строить шахты и работать на них, добывать уголь, обогревать города.

Работа в шахтах не останавливалась, и отцы наши работали то в первую смену – с утра, то во вторую – с обеда, то в третью – в ночь.

Если отцы работали в третью смену, в доме и возле него днем наступала тишина. Тогда было легче оторваться от дома и податься куда глаза глядят, даже туда, куда ходить запрещалось строго-настрого, – на городскую свалку, километрах в двадцати от нас. Походы обязательно заканчивались драками с местными пацанами, которые законно считали свалку своей.

Но мы почему-то никуда не уходили, а слонялись без дела по двору, без конца заходя домой – то попить воды, то спросить что-нибудь у матери. Когда пили, кружки почему-то обязательно гремели по ведру, и матери, ругаясь шепотом, в который раз выгоняли нас на улицу.

Если отцы работали в ночную смену, днем они спали.

Но однажды они не легли спать... Лежала на земле теплая осень и лениво и ласково гоняла в прозрачном воздухе паутину. Отцы как-то быстро и незаметно собрались вместе и пошли по дороге, по которой мы, пацаны, ходили чуть ли не каждый день: сначала по линии, а дальше по длинной чужой улице, где стояли дома, – к старой тополиной посадке. В той посадке играть было неинтересно – деревья слишком большие и редкие, чтобы в них прятаться, но маловаты, чтобы по ним лазать.

С лопатами в руках отцы походили по посадке, выбирая деревья, а выбрав и поплевав на руки, начали копать. Никто не разговаривал, и мы стояли кучкой и молча смотрели. Ветра совсем не было, а солнце грело, как в августе. Отец остановился, снял рубаху и остался в синей майке.

– На, поддержи, – сказал он.

Я подбежал и взял рубаху. Это была старая отцова рубаха в клеточку. На спине она была мокрая от пота и пахла отцом. Я закинул рубаху за спину и подошел к пацанам. Они смотрели на меня.

– На-ка, Сергей Петров, поддержи, – улыбаясь, сказал отец Серого. Он был веселый и часто при всех называл сына так, по фамилии-отчеству.

Серый торопливо подбежал и тоже взял отцову рубаху. Потом у всех оказались в руках отцовы рубахи.

Деревья были большими, и корни у них оказались глубокими, они цеплялись за землю своими корявыми, живыми и цепкими пальцами, не хотели из нее уходить. Все корни никак нельзя было выкопать, и тогда отцы стали рубить их лопатами.

– Ух! Ух! – ухали отцы. Деревья молчали, но вздрагивали...

Уже ничто не держало деревья в земле, и отцы положили их на края ям, воткнули в землю лопаты и закурили, отдыхая. Они курили молча, посматривая то на деревья, то на нас, то просто вдаль, туда, где солнце уже приближалось к террикону.

Деревья были тяжелыми. Отцы помогали их взваливать друг другу на спины и, сцепив за ними ладони, понесли.

Деревья были тяжелыми. А чтобы быстрее донести тяжелое, надо быстрее идти. Они шли быстро, ни разу не остановившись, так быстро, что мы не шли, а бежали рядом. Каждый рядом

со своим отцом. И я бежал рядом со своим, иногда забегая вперед, оборачивался и видел его напряженное лицо, вздувшуюся жилку на виске и капли пота на лбу. А за спиною его покачивалось целое дерево. Корявые его корни скреблись по земле, оставляя на ней дорожку, а над головой отца дрожали и испуганно шептались желтые монеты листьев.

Деревья были большими и тяжелыми, но они не могли упасть, потому что у отцов – крепкие руки, теперь у них, у деревьев, была одна надежда и опора – наши отцы.

Около дома, около каждого окна, уже была выкопана глубокая яма. Отцы выкопали их еще вчера, и мы немного помогали. Они осторожно поставили деревья в ямы, вытерли пот с лица, вздохнули, и мне показалось тогда, что и деревья вздохнули. Матери уже наносили в ведрах воды и лили ее в ямы на корни. Вода пенилась, чернея от земли, а земля и корни пили ее.

Потом мы, пацаны, поливали их каждый день, а потом забыли, вспоминая только иногда, когда спорили, чье дерево выше. Я всегда спорил с Сергеем, нередко дело доходило до драки, и нас разнимали и мирили то мой отец, то его.

Все до одного дерева прижились на новом месте, и кто родился позже, наверное, думает, что наши деревья выросли из земли... Но нет, деревья посадили наши отцы, я помню! Это самые обыкновенные тополя, другие деревья в наших местах не растут. Весной они роняют липучку, и тогда куры, которые вечно под ними суетятся, ходят как в лаптях, с липучками на лапах. Да и у нас на тапках, и на одежде, и в голове было полно этой самой липучки. А летом с тополей летит пух, как снег, и устилает все белым, и улицы становятся, как зимой.

Молитва

Мама пришла с работы. Она открыла тихо дверь, прошла в кухню и села на табуретку. Прямо в своей спецовке: в толстом брезентовом пиджаке и таких же штанах, серых от угольной пыли и золы.

Она ничего мне не сказала и не посмотрела, как будто меня не было здесь на кухне, а прижала свои серые ладони с короткими пальцами к лицу и тихо заплакала. Тихо моя мама плакала. И редко, и тихо.

Я отодвинул в сторону книжку «Родная речь», по которой учил урок, большую стеклянную банку со старым крыжовниковым вареньем и ложку, чтобы ничего не упало, и слез с табуретки.

– Мам... – позвал я. – Ты чего, мам?

Она не убрала с лица руки, как будто пряталась за ними от меня, как будто играла.

И тогда я тихо прислонился к ее рукам лицом. Они пахли кислым жженым углем.

И тогда я поцеловал их. Тихо.

Так целовала меня мама ночью, когда думала, что я уже сплю, а я не спал, а лежал с закрытыми глазами и про себя говорил молитвы. Мама не верила в Бога и молитв не знала. Она смеялась над нашей бабушкой, которая жила с нами, а потом умерла. Бабушка верила в Бога, знала молитвы, крестилась, а когда вздыхала, говорила: «Ох, божечки, божечки...» А мама смеялась над ней, потому что была веселая.

Мама убрала руки, опустила их и сказала: «Ох, божечки, божечки!» Щеки у нее были мокрые, и я прислонился к одной своей сухой щекой.

– Мама, ты чего?

– Ничего, – сказала она, – ничего, сынок.

А я уже говорил про себя свою молитву. Я не говорил слово «божечка», потому что Бога нет никакого, это нам наша учительница Елена Степановна говорила. Я говорил другое слово. «Солнышко». Оно – доброе. Когда я чихал летом на улице, мама смеялась и говорила: «Солнышко в нос попало».

И я всегда говорил молитву про солнышко. Когда у мамы болел живот, потому что она работала на вредной работе в котельной и от этого у нее болел живот, я говорил свою молитву. Мама лежала, и ладони лежали на животе. Я тоже клал свою ладонь ей на живот и говорил про себя: «Солнышко, пусть у мамы не болит живот. Солнышко, пусть у мамы не болит живот. Солнышко, пусть у мамы не болит живот».

– Мам, меньше болит? – спрашивал я потом.

– Меньше, – говорила мама, – меньше, сынок.

Это солнышко помогло.

Я знал, почему она плакала сейчас. Раньше она плакала, потому что посадили в тюрьму нашего отца. Мама говорила, чтобы его скорее посадили в тюрьму, потому что он со всеми дрался. И с мамой, и с соседями, и с другими людьми. А когда его посадили в тюрьму, плакала.

А сейчас она плакала, потому что ее начальник в котельной говорил, что переведет ее на другую работу, где на тридцатку меньше платят. Это она нашей соседке тете Дусе рассказывала, а я слышал. Теперь, значит, перевел.

Мама вздохнула, встала и пошла переодеваться и умываться.

А я вышел на улицу, поднял голову вверх, к солнцу. Оно уже падало, потому что был вечер. И я сказал громко, так, чтобы оно услышало:

– Солнышко, сожги мамино начальника!

Школьные истории

* * *

Уже давно начал я писать что-то, что так и не написал, но назвал громко и вызывающе – «Детство». Я садился каждый вечер за стол перед чистым листом бумаги, вспоминал свой дом и все, что было вокруг, отца, мать, друга Серого, всех остальных, небо, которое накрыло своей сферой с десятков шахт и заводиков и сотню-другую одноэтажных и двухэтажных домов, и людей, что жили в них, работали, потому что не работать нельзя, вспоминал то, что только сейчас, в эту самую секунду я назвал про себя родиной. Родина... как-то раньше и в голову не приходило. Я вспоминал все истории, которые сидели во мне, вытаскивая их из памяти, удивлялся: вот ведь, не все так просто было, не так, как думалось обо всех этих историях тогда, думал о читателе и верил, и надеялся, что он поверит мне, поймет, почувствует и даже, может быть, приедет в те места, что я родиной назвал, и понюхает воздух, о котором я столько пишу, и попробует познакомиться даже с теми людьми, которых, как говорит одна моя знакомая, облагораживаю, молюсь на них. Тот человек, думал я, познакомится с этими людьми и поймет, что молиться там не на кого, народ живет там обыкновенный, даже, можно сказать, так себе народец, характер тяжелый, все себе да себе. Мне станет стыдно, что обманул человека, заставил его зря проездить. Я буду извиняться. А потом, когда станет совсем тяжело, помолюсь про себя на пьяницу Жорку, что живет в соседнем доме и пьет на деньги, вырученные от продажи картошки, которую выкапывает ночью с нашего огорода.

Вот видите, куда завело меня самое маленькое воспоминание о детстве? А ведь я совсем о другом. Выше и заголовок написал: «Школьные истории». Я писал, писал о детстве, потом прочитал, смотрю, а о школе ни слова нет. Даже не знаю, почему так получилось, не пойму. А ведь действительно здорово было! Первое сентября. Теплынь. Все золотое. Идешь по улице, букет из георгин к груди прижимаешь. Все повылезали на улицу, глазают, а ты идешь себе, скрипишь новыми ботинками. Здорово было. Нет, здорово было, честное слово! И я решил воздать хвалу тому прекрасному времени, влезть в середину хора и пропеть своим слабым голосом такие любимые всеми слова: «Школьные годы чудесные!» Начал вспоминать – не помню. Забыл все, напрочь! Ну, если что и осталось, то это ведь никому не интересно. Например, я долго не мог составлять в столбики арифметические примеры. Они не становились у меня ровно, а вылезали, выдвигались, как ящики письменного стола, когда что-то ищут и не могут найти. Я бессильно наблюдал за этим безобразием, пытался задвинуть ящики на место, сложить примеры в стопку, а они отползали влево или вправо на еще большее расстояние. Тогда я начинал реветь. Вот и вся история.

Тогда я стал вспоминать, что было в старших классах, и написал два этих рассказа...

Санька и Деря

Санька вошел в класс как-то странно, боком. Его длинные худые руки в коротких рукавах пиджака висели вызывающе безвольно. Вернее, он не сам вошел, его ввела в класс завуч Черепаха.

– Вот ваш новый товарищ, – скрипела Черепаха, а мы не слышали ее.

Новенький!.. Мы пожирали Саньку глазами, проглатывали его брезентовые тапочки и нитяные носки, его вздутые на коленях серые застиранные штаны и такой же пиджак. А под ним – когда-то, наверное, белую, а теперь серую и желтую одновременно рубашку с разными пуговицами. Но не в этом дело! Мы сами были одеты не лучше и на тряпки обращали

внимания столько же, сколько и на наших девок. Но – Санькина голова! Она была похожа на солнце, вымазанное каким-то чудаком в кирпичной крошке. Санька был рыжим! Он был королем рыжих! С его ражего лица на нас смотрели зеленые глаза рыжего человека. Ничего хорошего они от нас не ждали. Санька был приговорен. Он был трижды приговорен и растоптан, когда открыл рот и стал отвечать на вопрос математички, откуда он к нам приехал. Мы так и не поняли откуда. Санька заикался, страшно заикался. Он выдавливал из себя звуки, но они застывали на его бледных губах мыльными пузырями, принимали немыслимые формы и лопались. Мы давились от смеха.

У нас в классе появился громоотвод. А быть громоотводом в пятом классе – дело страшное.

Я сидел один. Сидеть на уроке одному – тоска, но когда появляется новенький... Санька сел рядом, тяжело и обреченно посмотрев на меня глазами осторожными и незлыми. Меняхватило минут на пять, не больше, после того как Черепаха уползла из класса. Взгляды пацанов жгли мне спину, и, когда оборачивался, я видел их нетерпеливые рожи. Они подмигивали мне, толкали друг друга, чесались и тихо стонали от нетерпения. Математичка Рыжая, которая действительно была рыжей, но порядком полинявшей от старости и злости, а тут, когда появился Санька, и вовсе потерявшаяся, что-то сбивчиво объясняла. Меня распирало желание действовать, но я не знал, с чего начать. В спину уперся носок ботинка сидящего сзади Мельника и вворачивался в позвоночник. Я поймал Мельника за ногу и повернул ее на триста шестьдесят градусов, заставив Мельника с тихим воем крутнуться на своей парте ровно на столько же градусов, и посмотрел в последний раз на Саньку. Он сидел напрягшись, глядя на Рыжую, и все так же безвольно уронив руки.

Я выгнул грудь колесом, набрав сколько мог в грудь воздуха и, не разжимая зубов, предложил:

– Бей!

Санька внимательно посмотрел на меня, на мою грудь, на Рыжую, а потом быстро выбросив из-под парты неожиданно острый большой кулак, бухнул им меня. Удар получился сильный и болезненный, но я не выпустил из легких воздух, и к потолку класса мгновенно поднялся новый звук – БУМ! – будто кто стукнул большим молотком по пустому деревянному ящику. Рыжая замолчала и прислушалась. Девки подобрались. Пацаны осторожно засмеялись. Это был проверенный прием. Начиналось...

Рыжая повертела головой и продолжила объяснение, но уже гораздо внимательнее. Я обернулся назад и победно посмотрел на пацанов. У Мельника отвалилась челюсть. Я хотел остановить свой торжествующий взгляд на Саньке и добить его. Но Санька сидел красный, как рак, от напряжения с выгнутой костлявой грудью.

Он даже пиджак расстегнул.

– Бей, – приказал Санька тихо и угрожающе.

Я пришел в себя, привстал и со всего маху, левой, ухнул его в грудь. Она отозвалась не глухо, как моя, а звонко и нахально, как старый треснутый таз – ДРИНЬ!

– Ты! – заорала Рыжая, подбегая ко мне.

– А я чего, – сказал я нагло, – я ничего. Это он, – и указал пальцем на соседа.

Санька смотрел на Рыжую удовлетворенно и, кивнув головой для убедительности, сказал радостно и неожиданно совсем не заикаясь:

– Ага. Это я.

Приговор отменялся. Санька был своим. Санька был своим, хоть и заикался, и был рыжим. Он мог даже потом заявить: «А что я, рыжий, что ли?» И мы бы его поддержали.

Санька был человеком в школе известным, а одно время даже знаменитым. Однажды на перемене мы носились на школьном дворе, где уже несколько лет строился спортзал. На перемене там собиралась мужская половина школы. Десятиклассники базили, пряча в кула-

ках горящие сигареты и выпуская дым за воротник, а мы, пятиклашки, играли в салки, прыгая с одной кучи кирпича на другую, перемахивая через невысокие еще стены. Не знаю, чем Санька не понравился здоровенному десятикласснику, но когда тот пробежал мимо, десятиклассник изловчился и достал Санькин зад ногой. Удар был силен, и Санька несколько метров пробежал на четвереньках, но тут же вскочил и, быстро подбежав к десятикласснику, схватил его за руку.

– П-п-пайдем один на один, п-п-пайдем! – закричал Санька со страшным и неожиданно белым лицом.

Десятиклассник явно струхнул, но повернул Саньку кругом и дал ему еще раз пинка. Мы все, собравшиеся вокруг, не успели даже засмеяться. Санька мгновенно поднялся с земли и так же мгновенно, схватив половину кирпича, запустил ее во врага... Десятиклассник лежал на земле с закрытыми глазами, и на наших глазах у него на лбу выросла здоровенная, почти с кулак, фиолетовая шишка – никогда больше я такого не видел...

Что еще рассказать о Саньке... Он родился в деревне Кондрово, километрах в десяти от нашего поселка, жил там и учился. Родители его были люди странные, даже, может быть, необыкновенные. Они, говорят, поженились поздно и не отходили друг от друга ни на шаг, даже когда работали, а когда по улице шли, держались за руки. Санька родился, когда им было под пятьдесят. А через двенадцать лет они тихо, почти одновременно умерли. Саньку забрала к себе тетка, жившая в нашем поселке, и поэтому он стал учиться в нашей школе. Но это я сейчас понимаю, что значит – остаться в двенадцать лет без матери и отца, а тогда... Двенадцать лет – страшный возраст, иногда мы завидовали Саньке.

Только однажды, сам не знаю почему, я спросил:

– Ну ты как?

– Вот т-так, – ответил он тихо.

Санька был человеком в классе известным еще и потому, что он имел свою идею и доконал ею всех. Этой идеей была шаровая молния. Он прочитал в каком-то журнале про то, как они появляются неведомо откуда, плавают в воздухе, убивают током на месте, кого захотят, или улетают через форточку на улицу. Физичка Антонина долго и неуверенно говорила что-то об электричестве, математичка Рыжая что-то о математике, а завуч Черепаха, учительница русского и литературы, просто посоветовала ему заткнуться. Но Санька не унывал. Шаровая молния была идеей Саньки, и это делало его человеком известным даже в масштабах школы.

Но с Дерей он, конечно, сравниться не мог. Во-первых, потому, что Деря был учителем, и не просто учителем, а директором нашей школы. Но не это главное. Главное то, что Деря был на войне. Он был на войне разведчиком. О Деря ходили среди нас, пятиклашек, слухи самые разные. Говорили, что он раньше был алкоголиком, пил по-черному, а потом решил завязать, и завязал, теперь в рот не берет, что получает он восемьсот рублей новыми, что в сейфе, который стоит у него в кабинете, лежит немецкий трофейный вальтер, а к нему три обоймы с патронами. О, кабинет Дери! Лысого из шестого «А» водили в кабинет к Деря, после того как он чуть не спалил школу. Лысый ходил потом героем и рассказывал каждому:

– Поставил он меня перед собой и говорит: «А ты знаешь, что с разведчиком разговариваешь?» – а потом как даст под дых! А я знал уже, что он под дых бьет, книжку под кофту засунул, мне не больно, а я все равно упал на диван и лежу...

Лысый был трепло, ему не верили, но все равно, эти истории играли Деря на руку. Уважали его еще больше. Сам о своей популярности он вряд ли заботился и рассказывал о войне очень редко, я помню только один такой случай.

– Дело было под Ростовым, – рассказывал он. – Взяли мы хутор небольшой. Захожу я в дом, а мне хозяйка и говорит: «У нас в подвале немец прячется». Я – туда. А сколько в пистолете патронов было, не посмотрел. Спускаюсь вниз, фонарем свечу. Смотрю – и правда немец сидит, в угол забился. Я пистолет на него наставил, приказываю, чтобы он руки поднял. Он закричал что-то и на меня кинулся. Я стрелять, нажал на спусковой крючок... а патронов

нет. Щелкнул пистолет, и всё. Тут немец опять в угол, а потом опять на меня выходит. Смотрю – в руке у него нож. Назад бежать нельзя, в спину ударит. Приготовился я и, когда он поближе подошел, ударил его ногой в пах, нас в разведке учили, он сразу и свалился. Я выхватил этот нож и... ударил в грудь немца.

Деря зарезал немца... Деря зарезал немца! Сомнений в том, что все было именно так, как он рассказал, ни у кого не было.

Деря входил в класс спокойный и уверенный в себе и в нас. И это было так. Он отсчитывал до своего стола шесть шагов, поворачивался к нам, клал черную тонкую папку на стол и говорил отчетливо:

– Здравствуйте, ребята.

На других уроках можно было встать, а можно и не встать, спрятавшись за чью-нибудь спину, можно подскочить, грохнув крышкой парты, или упасть для смеха, а здесь мы стояли. Стояли как миленькие, как на параде, не дышали. Деря садился на стул и говорил:

– Садитесь.

И мы садились быстро, как могли, но партами не стучали.

Он приказал на самом первом уроке: «Не стучать партами». И они замолчали на его уроках навсегда, даже не скрипели.

Девки сидели бледные и, положив на колени учебники, повторяли урок, наверно, в тысячный раз. Хотя было известно, кого он сегодня спросит, потому что вызывал к доске он всех по порядку, по номерам, как мы были записаны в журнале, начиная с несчастной дуры Антоновой и кончая счастливой душой Ярыгиной. Но девки все равно, на всякий случай, повторяли урок, тихо шлепая от страха и усердия губами. С Дерей шутить было нельзя... Ему с нами можно. А нам с ним нельзя. Он пришел однажды, улыбаясь, и вместо «Здравствуйте, ребята!» сказал вдруг:

– Ну что за народ, ребята, нынче пошел некультурный!

Мы стояли, сжавшись, не понимая, для чего это сказано. Деря выдержал паузу и закончил:

– Вчера зашел в ресторан поужинать, выходил – все руки отдавили!

Мы засмеялись, и вместе с нами засмеялся Деря.

На следующем уроке Кореец Длинный, нудный парень, которого никто не любил, решил, видно, отличиться. Не успел еще Деря сесть, как Длинный спросил его с заискивающей улыбкой:

– А вам, Петр Иванович, вчера в ресторане руки не отдавили?

Мы хотели было засмеяться, но Деря подскочил к Длинному и проговорил тихо, но страшно:

– Ты... шутишь? – И вдруг рявкнул: – Сесть!

Длинный от страха еле колени согнул.

Мы долго еще над Корейцем издевались: подходили близко и, сделав свирепую рожу, говорили:

– Ты... шутишь?

Но все это было позже. Санька ждал несколько уроков, но Деря его не вызывал к доске для ответа. Как мы потом узнали, просто фамилия Саньки не была вписана на этой странице журнала. Потом, правда, фамилию его вписали, кому-то досталось, но это было потом, позже истории, которая, в общем-то, и не история, а так, скорее случай на уроке.

В тот день Деря вошел в класс не просто серьезно, а даже как-то торжественно. Он был, как всегда, в черном костюме, но в новом, и под пиджаком была не зеленая армейская рубашка, а белая, редкая тогда, нейлоновая сорочка и узкий черный галстук. После того как мы сели за парты, он достал из папки тонкую тетрадь, как обычно, заглянул в нее и сказал:

– Сегодня, ребята, я вас спрашивать не буду. – Мы зашевелились – Сегодня, – он повысил голос, – у нас будет свободный тематический урок. – Деря подошел к доске и написал на ней красивыми буквами: Коммунизм как общественно-экономическая формация.

Признаться, в пятом классе мы меньше всего думали о нем. Такие понятия, как коммунизм, перестали нас, пацанов, волновать еще с детского сада, да и то, если кто в него ходил... Нас интересовало следующее: какая машина лучше, «запорожец» или «москвич», кто победит – боксер самбиста или наоборот и, наконец, кто сильнее – кит или слон. А коммунизм, что коммунизм?

Деря посмотрел еще раз в тетрадь и начал:

– С древних времен, ребята, с первобытно-общинного строя, простой человек мечтал о том времени, когда все будут равны, мечтал о справедливом строе.

Дальше пошли слова непонятные, а потому и неинтересные: формация, производственные силы, базис... Я заскучал, и все заскучали.

А Санька – нет. Он толкал меня в бок, хотел что-то сказать, глаза его горели, но разговаривать на уроке Дери было нельзя. Деря ходил спокойно от окна до двери, говорил уверенно и громко, по порядку. Рассказав одно, он заглядывал в тетрадь, говорил: «Дальше...» – шел дальше. Чем дальше он говорил, тем голос его становился громче и торжественнее. Ничего не понимая и не пытаясь понять, мы все равно сидели тихо, запуганные Дерей. Только Санька беспокойно вертелся рядом со мной.

– Пять минут осталось, – прошептал сзади Мельник, единственный обладатель часов в классе.

Санька дернулся и поднял резко и высоко руку. Деря продолжал ходить и говорить, не видя никого.

Кончики Санькиных пальцев дрожали. Деря его не замечал. Я хотел остановить Саньку, схватил его за руку, но Санька оттолкнул меня, встал и сказал громко и неожиданно, так что даже Деря вздрогнул:

– Можно спросить?

– Да, – сказал Деря, еще ничего не поняв.

– А при коммунизме все люди...

– Фамилия, – остановил его Деря, пришедший в себя. На его уроках надо было сначала говорить фамилию, а потом уж спрашивать или отвечать.

Санька запнулся и покраснел:

– М-муромцев.

– Слушаю, – сказал Деря.

– А при коммунизме все люди б-б-б-бб...

Первую часть своего вопроса Санька успел сказать быстро и понятно, а вот дальше его заело.

Санька покраснел еще больше и начал снова:

– А при коммунизме все люди б-б-б-б-б...

Глаза Дери сузились, и сам он как-то сжался. Он не знал, что Санька заикается и ему надо успокоиться, чтобы нормально все сказать, и мы замерли, не могли даже пошевелиться, не то что объяснить все, и только сидели и смотрели на Саньку и Дерю, с ужасом ожидая, чем все это кончится...

– Б-б-б, – он никак не мог сдвинуться с этой проклятой буквы.

– Что при коммунизме? – спросил Деря резко и громко.

– А при коммунизме все люди б-б-б...

– Что люди?

– Б-б-б...

– Сесть! – приказал Деря.

Санька тихо сел.

Деря подошел к столу, заглянул в тетрадь и перешел к заключению:

– Таким образом, ребята, коммунизм – это такая общественно-экономическая формация...

– А при коммунизме все люди будут...

Я не знаю, что дальше произошло. Почему-то Деря очутился рядом с Санькой, и рыжие Санькины волосы оказались в жилистом кулаке Дери, и голова Саньки поднялась вверх медленно, как во сне, и так же медленно опустилась вниз с глухим стуком, который расколол надвое слова Дери, возникшие неожиданно:

– Что коммунизм? – БУМ! – Что люди?!

Потом Деря оказался у доски, а голова Саньки осталась лежать на парте лицом вниз.

Стало страшно.

Деря открыл рот и начал говорить, но только по его рту можно было понять, что он говорит.

– Коммунизм – это... – говорил он, но будто кто выключил звук.

И Санька стал медленно, как во сне, поднимать голову. Лицо и волосы его оказались совершенно белыми, и из этой его новой головы вышла его прежняя голова, яркая, как солнце, поднялась вверх, постояла над Санькиной, дрожа, а потом медленно поплыла к Деря и остановилась в нескольких сантиметрах от его лица. Деря замер с открытым ртом. **ШАРОВАЯ МОЛНИЯ**. Она описала круг вокруг Дериной застывшей морды с тихим неземным звуком и опять остановилась у бледного Дериного носа, но постояла немного, секунду, и все с тем же звуком вздрогнула и тихо ушла в прозрачный осенний день...

Последний костер

Когда становилось холодно, когда был октябрь, когда оставались только деревья с несколькими листьями, голое небо и ветер, мы выходили на улицу. Мы выходили на улицу и стояли молча у подъезда, замерзали. Я прятал красные обветренные руки в карманы пиджака и нащупывал в одном, правом, большой тяжелый значок «Готов к защите Родины» с прикруткой, как орден, маленькую увеличилку, старый красный карандаш «Спартак», несколько камушков и разный сор, мелкий и приятный, а в левом рука находила дырку и больше ничего. За это левый карман я любил и не любил. С одной стороны в нем всегда ничего, но зато под ним, в самом углу пиджака можно было найти все что угодно, и иногда даже маленький грязный леденец или одну или две копейки. Кто-то был, как я, – в пиджаке, кто-то – в материнной телогрейке, а кто-то – все в тех же тапках, шароварах и застиранной рубаше с короткими рукавами. Они первыми замерзали и начинали предлагать:

– Айда!

в магазин, смотреть, как лежат конфеты в стеклянной витрине

– Айда!

курить

– Айда!

на свалку поищем чего-нибудь

– Айда!

на чердак играть в хоронюшки

– Айда!

лазать по деревьям, играть в войну, рыть штаб в кустах, делать взрывчатку, стрелять из поджигов, сбивать друг друга на великах, бегать вокруг дома, кто больше кругов сделает, играть в «сику» по копеечке.

– Айда!

Когда все стояли и молчали, продолжая замерзать еще больше, а кто-то с кем-то начинал задирается, и затевалась даже не драка, а так – драчка, хлопала дверь Мишкиной квартиры и выходил Мишка, заспанный как всегда. За этот вид и за то, что спит днем, над ним смеялись, он злился, но спать днем продолжал. Мишка прижимал к груди несколько картофелин, поднимал на нас маленькие глаза и говорил спокойно: «Пошли жечь костер».

И в горло вдруг начинал лезть сладкий дым несуществующего еще костра, в глазах билось маленькое пламя, обещающая угольные бока испеченной картошки. И все шли, молча, не совещаясь и не споря, впереди бежали те, кто в рубашках, у них уже зуб на зуб не попадал, сзади круглые и толстые телогреечники, а посередине – Мишка.

Костры жгли на огородах, в кустах, даже на чердаке умудрялись и в уборной, но этот жгли всегда в одном и том же месте: за сараями, огородами, между двух соединяющихся линий железной дороги в низинке, где росла редкая трава и лежали большие камни, под которыми, если их поднять, можно было найти убитую еще сто лет назад кошку и тысячи козявок, которые этой кошкой кормились. Но сейчас никто камни не поднимал. Все расходились в разные стороны, и начиналось собирание палок и щепок, которые за многие годы полностью подбирались, но вновь появлялись то тут, то там неведь откуда. А Мишка бросал на землю картофелины, отряхивал рубаху на животе и шел обратно через пустые бугристые огороды с пожженной давно ботвой, только серые круги пепла остались, шел к сараю, находил ключ около дырки для кур, открывал дверь, брал топор и несколько толстых поленьев, шел к колоде, рубил их, сопя, на тонкие палочки. Он приходил обратно, где была собрана уже большая куча деревянного мусора, бросал дрова на землю, складывал самую мелочь, подсовывал клочок бумаги и только после этого доставал из кармана штанов приятно гремющий коробок со спичками, доставал одну, чиркал и зажигал. Когда костерик занимался, он подкладывал свои дрова, потом еще, и когда появлялся жар, осторожно бросал туда картошки.

У костра все отходили. И забывали, что уже октябрь, что холодно. Я вытаскивал окоченевшие руки из карманов и грел их над огнем.

– Спеклась небось картошечка... – подавал голос почти сразу же какой-нибудь самый маленький и сопливый. Кто-то из больших, стоявший рядом, молча отвешивал ему оплеуху, все молчали и смотрели в огонь. Потом другой высказывал мнение, что она должна быть готова, с ним начинали спорить, я тоже спорил и кричал: «Сырая еще, ты хочешь есть сырую, ну и ешь, а я не хочу!» Замолкали, потом вновь кто-то говорил насчет картошечки и получал отпор. И я давал отпор, а после нового молчания сам вдруг открывал рот и говорил уверенно, что теперь она спеклась, и сам получал отпор. И когда все побывали в роли и тех и других, и всем становилось ясно, что – всё, картошка готова, хором навалились на Мишку и называли его соней и человеком, который не знает, когда картошка в костре бывает готова.

– Вы зато знаете, – сонно огрызался Мишка, продолжая сидеть на корточках и смотреть в огонь.

С ним надоедало спорить, и когда всем было уже все равно, потому что она уже сгорела, Мишка брал молча прутик и выкатывал на траву черные картофелины, и все начинали ему помогать.

Потом была дележка по справедливости: «Кому?» «Тебе?» «Кому?» «Серому?» «Кому?» Потом ели картошку, делая вид, что именно ему досталась самая вкусная, выедали изнутри корку до самого угля, а некоторые съедали и корку, приговаривая, что для живота полезно. Потом гасили костер, глядя на свои струйки, и шли, перемазанные, домой через рельсы и пустые бугристые огороды.

И тогда замечали, что темнеет и солнца уже нет, а только небо серое, холодное – октябрь. И все опять останавливались у подъезда и стояли молча, не двигаясь, слушали, как тихо уходит вечер.

О любви

Когда-то в детстве была зима... Когда-то в детстве была зима. И я катался с горки. Какая там горка... Просто сразу за сараями проходила железная дорога, мы говорили – линия, по которой возили уголь с шахты. Насыпь была высокая, вот с нее мы и катались, уступая время от времени дорогу пылящим страшным паровозам.

Моя мать и мой отец никогда не говорили и никогда не скажут: «Я люблю...» Любовь – это их жизнь, я, работа.

«Я люблю тебя, – говорю я и повторяю: – Люблю, люблю, люблю...»

Давай послушаем, потрогаем это слово. Сначала вытягиваешь губы, как свистеть, а потом делаешь странный звук, будто выплевываешь косточку от компота.

«Я люблю», – говорит она. «Я не люблю», – говоришь ты.

Что это значит? Кто объяснит мне?

Я хочу знать.

В детстве я был трусом. Впрочем, я и сейчас не могу назвать себя смельчаком. Но тогда я не боялся драться, хотя и никого не бил. Было больно бить. Паровозы ходили медленно, они только выезжали с шахты, груженные углем, черными жирными калмыгами. Пацаны иногда цеплялись и катались, сидя на вагонах, бросая в тех, кто внизу, кусками угля. Но не сейчас. Зимой холодно. Из окна паровоза смотрела улыбающаяся грязная рожа машиниста. Мы кубарем скатывались с горки, крича на ходу с радостным ужасом: «Паром обдаст!!!» Некоторые падали лицом в снег. Лязг гигантских и ленивых шатунов прекращался, не было слышно хриплого дыхания паровоза. Все замирали, ждали пара. Все замирало, ждало пара... И вот он, наконец, вырывался наружу, радостный, свистящий, вместе с орущим гудком, и в сердце что-то закипало, лезло через горло, глаза, казалось, что и там, там в груди, много-много пара, который так хочет наружу!

Я был трусом. Я не мог съезжать по накатанной ледяной полоске, стоя на ногах. Серый мог. Для этого он надевал свои кирзовые сапоги с подвернутыми голенищами. Многие могли съезжать стоя. Но как Серый – никто. Все ждали. Серый знал, что его ждали, и поэтому не торопился. Он взбирался медленно боком на насыпь и, став аж на второй рельс, хитро оглядывал всех, а потом, неожиданно оттолкнувшись и перешагнув другой рельс, прыгал на самый лед. От этого он терял равновесие, кричал весело, с руганью и, перевернувшись в воздухе, шмякался об лед. Или благополучно съезжал. Это не важно. Я стоял и смотрел на него. Пальто замерзло и становилось колом, как тумбочка. Пальцами было больно пошевелить. В валенках уже не таял снег. Я шел домой. Солнце висело в вымороженном небе, выцветшее за лето и сразу же замороженное, так и не успевшее набраться краски, как бледное диетическое яйцо.

Я знал, как тепло дома. Было воскресенье, и дома были мать и отец.

Дома было тихо. Кухня открыта. Теплая. На печке стояли кастрюля с супом, черная сковорода с жареной картошкой. Я негнушимися пальцами стаскивал валенки, снимал пальто и прятал его на вешалке: увидят, заставят идти в коридор и отряхивать от снега.

Они сидели на диване в комнате и тихо разговаривали. Значит, было воскресенье, или отец работал в ночь. О чем они разговаривали... Не знаю... О жите-бытье, о себе, обо мне...

– Пальто отряхнул? – спросил отец.

Врать ему я боялся. Пошел в коридор и повозил по пальто веником. Всё...

На столе в кухне стояла тарелка с горячим супом. Разваренная картошка, лук и мелко нарезанная колбаса. Да, а еще хлеб. Я откусывал большой кусок от ломтя черного хлеба, дул на ложку с супом и, обжигаясь, торопливо ел.

– Сынок, ты учил сегодня английский?

- Учил.
- Ну скажи мне что-нибудь по английскому...
- Что тебе сказать?
- Глаза матери лукаво улыбались.
- Скажи: мама, я тебя люблю.
- Маза, ай лав ю.
- Вот молодец, ну скажи еще что-нибудь...
- Больше не знаю.

Я наедался, отогревался. Добрая тихая ночь уже придумывала сегодняшние сны. Я ждал их.

И все-то я вру, вру, вру! Вчера увидел тебя и задохнулся. Господи, какая ты...

Тамара

1

Море есть море. Мы дожили до шестнадцати лет, доучились до десятого класса, а моря не видели. И, сидя в ночном одесском аэропорту, ожидая машину, которая отвезла бы нас к морю, мы выпендривались как могли, орали песни, но думали, думали о нем, волновались. А утром, когда крытый грузовик привез нас к морю, мы стали прыгать из кузова, одуревшие за ночь, невыспавшиеся, готовые не спать все ночи здесь, и я прыгнул на холодный песок, упал, поднялся и снова упал, потому что кто-то сиганул на меня, но не почувствовал боли, кинулся вперед, побежал и только на бегу открыл глаза и увидел... Я увидел воду, много мутно-зеленой воды. И еще я увидел, что на берегу, перед водой, много людей. Они стояли и ходили, одетые, потому что было холодно, среди закрытых пластмассовых павильонов, каких-то труб и балок. На воде, недалеко от берега, покачивались две большие рыбацьи лодки. Вокруг стояли люди: мужчины с закатанными выше колен штанами и женщины с зажатыми в одной руке подолом платья. Они копались в лодочьем нутре, выбирая только что пойманную рыбу, и незло ругались с рыбаками, отдавая деньги. Все это как-то само собой увиделось, когда я бежал к морю... И тогда я побежал спокойнее, потом пошел, потом остановился и, уже совсем не торопясь, стянул штаны и рубашку, почесался и вошел в тухлую мутную воду. Она неожиданно обожгла...

Так мы узнали море.

Мы долго, почти целый год, добивались этого права, повысив на сколько-то там процентов успеваемость и дисциплину, но главное – заняли первое место в школьном конкурсе строевой песни. Мы оставались каждый день после уроков в школе и топали, маршировали, шли в ногу, если была хорошая погода – по улицам, а если плохая – в спортивном зале. Топали и пели хором: «Пу-уть дале-ок у нас с та-бо-ю, ве-се-лей, сол-дат, гля-ди! Вье-отся, вьется знамя полковое, команди-ры впе-ре-ди, сол-да-ты в путь, в путь» и так далее. Мы прошли на конкурсе перед жюри не хуже, чем на параде ходят, а может, даже и лучше, заняли первое место и заработали право на эту поездку. Потом месяц таскали на овощной базе ящики – зарабатывали деньги. И теперь вот мы на море. Почти ни у кого из нас родители так ни разу и не побывали на море, а мы – уже в девятом классе, в шестнадцать лет!

Лагерь мы разбили на диком пляже под Одессой, среди множества разномастных палаток, среди дикарей, и сами сразу стали дикарями, правда, организованными. По утрам мы выстраивались на утреннюю линейку, а по вечерам на вечернюю поверку. В остальном мы были обычными дикарями и очень этим гордились.

Девчонок было пятнадцать и нас, ребят, было пятнадцать, и если раньше мы их как-то не замечали в коричневых формах и фартуках, презрительно называя девками, тут как-то само собой получилось, что через день-два все разбилось по парам – тихо, мирно. Мне досталась Ярыгина. Про нее моя мать говорила: хорошая девка, справная. Кожа у нее была какая-то толстая и красная. Она все время молчала и смотрела исподлобья. Лицом она, правда, не вышла, но зато грудь! Второй такой в классе не было. И это был мой главный аргумент в споре на тему: чья лучше.

– У моей Ярыгиной! – кричал я... Но это было не совсем так. Первое же посягательство на ярыгинскую грудь было остановлено таким толчком в мою грудь и ударом ярыгинского кулака по моей спине, что я зарекся до нее дотрагиваться, и все же кричал: – У моей Ярыгиной!

Все поделили друг друга и были счастливы. Длинному досталась коротышка Кучкина, Кузе – Рыжуха, Козлу – Танька-Пупок, самому красивому в классе парню – Кисе досталась красивая Ирина, Лысому – Верка Павлова, тоже ничего. Наташка с Иваном так и остались

вместе. Как-то сразу почувствовалось, что мы – существа разного пола, которых почему-то тянет друг к другу. И даже наша классная дама Антонина, женщина сугубо деловая, Комиссар, как звали ее все, оказалась обычной худой теткой, которая отдергивала ногу, как и остальные, когда входила в воду, визжала и боялась брызг. А брызгал на нее, бросая воду горстями, школьный пионервожатый Вася, чубатый и тоже худой.

Словом, мы как-то сами, без чьей-либо подсказки, открыли непечатную истину, что раз приехал на Черное море, на юг отдыхать, то сначала заведи подругу, устрой себе маленькую южную любовь, а уж потом отдыхай на здоровье. Так мы и поступили.

Прожили мы почти неделю, может больше, и всем нам очень нравилась эта жизнь: купание в теплой соленой воде, абрикосы – ешь сколько влезет, и ежевечерние встречи со старыми и такими вдруг новыми подругами, которые сулили новые, еще более значительные открытия...

И вдруг появилась Тамара. И все пошло кувырком, совсем не так, как хотелось...

2

Мы поднялись, как всегда, в семь утра, выстроились, поеживаясь и позевывая, на линейку и увидели, что совсем рядом с нашими красными палатками, выпрошенными школой у какой-то богатой организации, стоит еще одна, обыкновенная, из выцветшего, почти белого брезента. А у палатки сидели на корточках двое: старуха с расчесанными на пробор седыми волосами и девушка в красном платье с широкими черными полосами, сидели и ковырялись в примусе. Позже, уничтожив приготовленный дежурными завтрак и накупавшись до одурения, подныривая под визжащих, царапающихся в воде девчонок, мы совсем забыли о тех двоих, старухе и, наверное, ее внучке. Хотя вряд ли забыли. Почему-то мы все сразу увидели, как зашевелился полог палатки и как из нее вышла, согнувшись, та, утренняя девушка. Ее черные волосы упали вниз, поэтому лица видно не было. Но она резко выпрямилась, откинула голову и отбросила волосы назад. Они вспыхнули неземной короной и опустились на плечи. Мы увидели ее лицо. Оно было смуглым или сильно загорелым. А что касается глаз, носа, губ, то я не знаю. Я ничего не знаю... Она бросила на песок большое белое полотенце, растянула и скинула халат и осталась в купальнике, черном с красным. Он закрывал живот и грудь, оставляя открытой только смуглую живую спину. Она спокойно прошла мимо нас, опустив голову так, что волосы опять рассыпались по лицу, и ступила в воду. Она не отдернула ногу, не съежилась, а спокойно пошла дальше, как будто никакой воды перед ней не было.

Когда над водой остались только голова и плечи, она нырнула, пропала, появилась вновь и поплыла.

Через полчаса ее почти не стало видно.

Потом она пропала совсем.

Я так говорю: полчаса, еще полчаса... Не знаю, сколько времени прошло, часов у меня не было. Да если бы и были, хоть настенные, с боем, все равно никто бы на них не посмотрел.

...Там, где море становилось небом, а небо – морем, где не море и не небо в отдельности, а все вместе, да еще расплавленное кипящее солнце, появилась точка, будто соринка какая попала, и сейчас она пропадет, сгорит. Но точка не пропадала, оставалась, она, похоже, была своей там, где простым смертным не бывать. Это был человек. Это была девушка. Это была Тамара.

Она спокойно приближалась к берегу, раздвигая перед собой податливую воду, подплыла совсем близко и остановилась. Ступнями встала на холодное каменистое дно. Мы почувствовали, как холодны и остры камни под ее ногами. Она шла к нам. Нет, она шла не к нам. Она прошла мимо нас, не глядя на нас, подняла полотенце, прижала его к лицу, подержала так, бросила полотенце на песок и упала на него лицом вниз.

Мы опомнились вдруг, увидели, что солнце совсем высоко и печет наши тела нещадно, и от этого они стали болезненно розовыми. Мы полезли в воду, но уже не стали подныривать каждый под свою южную любовь. И вдруг увидели, как они смешны в своих лифчиках и трусах с розами и лопухами, как толсты их спины и животы, как ненатурален и жалок их визг и смех...

Прошел день. Все словно оцепенели. Первыми почувяли беду девки. Но сделать они ничего не могли, кроме презрительных взглядов в сторону лежащей Тамары, перешептываний и смешков. Солнце словно отомстило им за это, и почти сразу все они обгорели. Теперь они целыми днями лежали в душных палатках, стонали, намазывали друг друга кремом и, глядя в зеркало, колупали облезлые носы. Вечером они вылезали на свежий воздух в новых цветастых платьях и всем своим видом показывали, что не прочь и погулять. Но никто не подходил к ним. Мы ненавидели их.

Только Иван уходил каждый вечер с Наташкой. Но тут было все ясно. Тут была любовь. Они сидели за одной партой с пятого класса, уходили из школы и приходили в школу всегда вместе. Пару раз, кажется в шестом классе, над Иваном пробовали смеяться, но оба раза он пускал смеющимся из носу кровь. Он был сильнее любого из нас, к тому же занимался борьбой. Он не был девчатником. Любовь есть любовь, это мы понимали. И когда они уходили, шли по берегу, спокойные, к скалам, мы всегда смотрели на их стройные фигуры и на его руку, положенную ей на плечо...

Первым к Тамаре подошел Киса. Перед этим он сплавал довольно далеко, вышел на берег и, красиво отряхивая с себя воду, подошел к ней и сел рядом. Она лежала на животе и читала книгу.

– Ну что, – сказал Киса как можно более лениво, с легкой Кисиной улыбочкой, – отдыхаем?

– Отдыхаем, – ответила Тамара и улыбнулась.

– И мы тоже... – сказал Киса, растерявшись оттого, что она заговорила.

Мы сидели метрах в десяти от них и, вытянув шеи, слушали.

Весь дальнейший разговор проходил в Кисином стиле. То да се, да все такое... Потом он вспомнил, что надо познакомиться, и назвал свое имя.

– Тамара, – сказала она.

Мы вздрогнули.

Киса бросил на нас чуть презрительный и злой взгляд своих картинно-голубых глаз и продолжал дальше. Мы притихли и слушали. Из палаток высунулись красные физиономии наших бывших подруг и замерли.

Тамара была из Ленинграда. Никто из нас в Ленинграде не был ни разу. Она ездит на море каждый год с бабушкой. Мы попали сюда впервые, да и то за конкурс строевой песни. Ее отец был художником. Наши – шахтерами.

Киса заткнулся. Он вообще не мог долго говорить. Все вопросы типа: «А нравится ли вам здесь, а где вы любите больше всего купаться?» – он уже задал. Больше он ничего не знал.

Вдруг поднялся Длинный и, как бы нехотя, пошел в сторону Тамары и Кисы. Девчонки в палатке прыснули. У Длинного загорелись уши, но он продолжал идти все так же медленно, как будто нехотя, и сел рядом с ними. Сердце у меня упало, провалилось в сырой холодный песок и сжалось там. Я смотрел на них и говорил, клялся себе: «Сейчас встану, подойду, сяду рядом и спрошу, спрошу, какую книжку она читает? Киса не задал этот вопрос, а я задам, и тогда можно будет поговорить про книги или про кино, и я, может, приглашу ее в кино, и она, может, согласится...»

– А вы... – начал гнусавить Длинный, но Тамара засмеялась вдруг и перебила его.

– Почему это вы оба меня на вы называете? – спросила она с улыбкой.

Длинный запнулся и начал по новой:

– А вы... ой, а ты, какую книгу читаете... ой, читаешь?

Она показала обложку книги.

– А-а... – понимающе протянул Длинный, сделав вид, что читал. Он посмотрел вверх, придумывая, что бы еще такое же умное сказать, придумал и начал тянуть:

– А про такого писателя вы не слышали, Жорж Санд его фамилия...

– Писательница! – Тамара засмеялась.

– Что? – не понял Длинный.

– Жорж Санд – писательница, женщина, это ее псевдоним, – объяснила Тамара, смеясь.

– Ну да... – поправился Длинный и посмотрел на нас глазами, полными ужаса и позора.

И вдруг Киса взглянул на Тамару как-то открыто и сказал:

– Сегодня фильм в клубе французский «Искатели приключений», пойдешь?

Она подняла на него чуть удивленные глаза и согласилась.

Я подскочил, пробежал по воде несколько шагов, нырнул и не выходил наверх до тех пор, пока вода сама не вытолкнула меня, без капли воздуха в легких.

Но вечером не они одни пошли в кино, мы все пошли и, сидя в душном и тесном деревенском клубе, видели, как Киса метался в поисках места. Для Тамары он место нашел и долго упрашивал ее соседей, чтобы они подвинулись, но те и не подумали. Когда фильм уже начался, он встал у выхода и простоял все полтора часа. Несколько раз он выходил на улицу и курил.

Киса потом еще раза два или три ходил с ней в кино и сидел рядом, но всем было ясно: Тамары ему не видать, как своих красивых тонких ушей. Но и от этого нам спокойнее не стало.

Только Иван уходил, как всегда, по вечерам со своей Наташкой и сидел с ней рядом в кино, спокойный и невозмутимый, а она прижималась к нему, белокожая, красивая.

Девчонки залечили свои ожоги и прохаживались вдоль берега, переговариваясь и посмеиваясь. Мы ходили табуном за Тамарой, старались хоть чем-нибудь выделиться и от этого еще больше были похожи друг на друга.

Три раза в день Тамара ходила в воду и уплывала. Мы пробовали увязаться за ней, но немногие доплывали даже до буйа, а дальше – нет. Во-первых, потому что уставали, а во-вторых, нам было категорически запрещено заплывать за буй. Антонина пообещала первого же, кто это сделает, отослать домой, а то, что слово свое держит, мы знали.

3

Небесная сковорода, перевернутая вверх дном, раскалилась добела с прилипшим и потому не падающим вниз солнечным желтком. Она такая горячая, что хоть мы и были далеко, начали вдруг ощущать свою кожу, волосы, глаза отдельно от всего остального. Мы лежали на большом шершавом ракушечнике, который здесь, может, уже тысячу лет греет бок, вечный, как то раскаленное небо. Голова, спина, руки и ноги приросли к камню и слились с ним, и я понял, что мне тысяча лет, что я – ракушечник, что тело мое большое и шершавое, теплое и живое. Я повернул голову и дотронулся щекой до твоей ладони. Кожа у нас одна. Ты не убрала руку, потому что кожа у нас одна, мы – одно, и ракушечник, и море, и небо, все – одно...

Море проснулось, сбросило дрему и плеснуло в нас пригоршню воды. Зеленые капли на твоём теле застыли, кожа стала пить их.

Ты открыла глаза, в них перевернулось небо.

Ты сказала:

– Пойдем искупаемся.

– Пойдем, – сказал я.

Мы поднялись и вошли в воду. Водоросли обвили щиколотки, щекотали. Кожа стала другой, слилась с телом. И глаза и волосы стали одним.

Ты легла на воду, и вода взяла тебя.

Я лег на воду, и вода взяла меня.

Мы тихо падали вниз.

Солнечные лучи сужались книзу острыми углами, но становилось светлей и прозрачней. Наши ноги коснулись песчаного дна. Ты стояла рядом и улыбалась.

В легких кончился воздух. Я хотел оттолкнуться от дна, вынырнуть, вздохнуть и вернуться, но ты сказала:

– Дыши.

Я вздохнул, и легкие наполнились воздухом. «Как странно, – подумал я, – почему люди не дышат в воде, почему пугаются, тонут? В воде надо дышать, как мы».

Об ноги стучались большие глупые рыбы. Ты засмеялась. Я взял твою ладонь в свою, закрыл глаза и поцеловал. А ты провела ладонью по моему лицу... Тамара...

Я открыл глаза. Как тихо было. Невидимые в темноте, неслышно спали Кузя, Киса, Иван. Им снилась ты. Нет, Ивану снилась Наташа.

4

День был как день. Вокруг Тамары крутилось несколько человек, остальные лежали по одному, молчали. Девчонки делали вид, что им без нас еще лучше, чем с нами.

Тамара поднялась, как всегда, неожиданно, резко, и пошла к воде. Все остались лежать на своих местах, никто не пошел за ней. Но не смотреть на нее мы не могли. Она поплыла. И вдруг поднялся Иван, спокойный и невозмутимый, оставив на песке сидящую Наташу. Он шел не просто купаться, он шел за Тамарой, это все сразу поняли. Ноги сами подняли меня и понесли в воду. Я смотрел себе под ноги, видел, как вода бьется о них, и слышал, как она бьется о ноги других. Мы все, пятнадцать человек, один за другим входили в воду и плыли, разрывая все нити и цепи, связывавшие нас с берегом, с прошлым.

Буй торчал в воде далеко, это было видно с берега, но я не думал, что это так далеко. Сначала мы не думали об этом, а плыли изо всех сил вперед – только бы обогнать других. И очень скоро я выдохся и стал смотреть на буй. До него оставалось уже меньше половины. Я слышал тяжелое захлебывающееся дыхание Кисы, Кузи, других. Они настигали меня. Впереди то пропадали, то появлялись сильные плечи Ивана, а где-то там, совсем далеко, голова Тамары с мокрыми волосами. Я перевернулся на спину и поплыл, отдыхая. Киса, потом Кузя прошли рядом, все так же тяжело дыша. Я понял, что надо беречь силы.

– Я возвращаюсь... – донесся до меня голос Длинного.

«Наверно, воды хлебнул...» – повеселев, подумал я и перевернулся на живот. Буй совсем не приблизился и даже удалился, потому что я свернул в сторону. Я стал с силой разрывать воду перед собой, настигая плывущих впереди. Но когда поравнялся с ними, почувствовал, что силы опять ушли, и вновь перевернулся на спину. Открыл глаза и удивился, что не щурясь смотрю на солнце. Оно было маленьким и белым, как гривенник. Всмотрелся и стал различать на нем цифру 10, а внизу слово: копеек. «Наверное, так тонут?..» – подумал я растерянно, быстро перевернулся на живот и увидел, что – один. Впереди были видны головы Ивана и Тамары. А все остальные плыли назад. На берегу стояли люди, кричали, махали руками, призывая вернуться. «Зачем я туда посмотрел?» Но поздно... Пришел страх. И чтобы убежать от него, я поплыл вперед, за Иваном.

Похоже, он устал плыть так быстро, и я стал настигать его. Потом мы долго плыли рядом, совсем близко, но не смотрели друг на друга. Мы старались дышать как можно тише, а плыть спокойнее, чтобы не выдать своей усталости, но ничего не получалось. Мы дышали тяжело, лихорадочно, со всхлипами, а плыли шумно, поднимая то рукой, то ногой брызги. Впереди, уже не так далеко, блестели на солнце мокрые волосы Тамары. И тогда я вздохнул глубоко, собрав последние силы, и стал обгонять Ивана. Я выдвинулся уже на полкорпуса и вдруг

почувствовал на своем плече его холодную и сильную руку. Она с силой вдавила меня в воду. Я беспорядочно заработал руками и ногами, чтобы быстрее двигаться вверх, туда, где можно дышать. У Ивана было злое страшное лицо.

– Утоплю, – крикнул он, и я, так и не успев вздохнуть, с открытым ртом вновь полетел вниз. И еще раз и еще.

Выскочив наверх, я забыл об Иване и Тамаре и жаждал только одного – иметь под собой землю, упасть на нее и лежать. Всего в нескольких метрах от меня качался буй, большой железный поплавок с облупившейся местами краской. И я поплыл к нему, быстро гребя, по-собачьи. Буй был холодный и шершавый. Я обхватил его руками и ногами. Он несильно вырывался и царапал лицо. Я заплакал.

...Сколько времени прошло? Не знаю. Волны тихо облизывали лопатки и шею. Я успокоился и ни о ком не думал. Когда хотел уже оттолкнуться от буя и плыть на спине к берегу, услышал тяжелое дыхание и увидел, что к берегу плывет Иван. Один.

5

На следующий же день Антонина отправила его домой. Но пока он еще не уехал, Наташа у него на глазах вышла из палатки в узеньком, почти прозрачном белом купальнике и, громко смеясь, стала брызгать водой в одуревшего от счастья Кису.

К Тамаре никто не подходил. Некоторые вернулись к своим бывшим любовям, и те их простили.

Вечером к лагерю со страшным треском подъехал большой мотоцикл. На нем сидел парень лет двадцати пяти. Он широко улыбнулся и громко сказал:

– Привет, ребята!

– Привет, – откликнулся кто-то без энтузиазма.

– Такие загорелые, а невеселые, – сказал он и снова улыбнулся.

Мы молчали. Парень был сильный. Это было сразу видно. И все равно на него было всем наплевать.

– Я тут с вами рядом пару ночек переночую, вы не против? – спросил он.

– Ночуй.

– Ну вот и отлично, спасибо. Я вам мешать не буду. Меня Володькой зовут, а живу я в Киеве. – Он еще что-то говорил и одновременно копался в мотоцикле, развязывал спальный мешок. Потом он разделся и побежал купаться. Вернулся он не скоро, упал на мешок, приговаривая:

– Хорошо, хорошо, ух, хорошо...

И тут из своей палатки вышла Тамара... Она прошла, как всегда опустив голову. Сбросила халат и пошла в море.

– Кто это? – спросил парень заговорщицки, не отрывая от нее взгляда.

Мы молчали.

– Да... – сказал он, сел и стал копаться в мотоцикле. И вдруг резко повернулся, вскочил и со всего разбега бросился в воду.

...Мы ждали их. Все лежали в своих палатках и притворялись спящими. Они выходили из ночной таинственной воды, громко смеясь.

– Тише, – сказала Тамара, – людей разбудишь. – Она помолчала, тихо и торопливо бросила: – Сейчас, – и скрылась в палатке.

Он быстро оделся, и она скоро вышла из палатки, одетая в свое красное с черными полосами платье. Они ушли. Все заснуло только под утро, так и не увидев, когда они вернулись.

Утром мы повылезали из палаток и увидели, как он один плещется, умываясь, недалеко от берега.

Он выскочил из воды и крикнул:

– Хорошая жизнь, ребята! – и прошел по берегу на руках.

Потом он быстро оделся и стал собирать свои вещи.

Немного погодя вышла Тамара. Старуха поцеловала ее, а потом перекрестила. Парень завел мотоцикл и сел на него, а сзади села Тамара.

– Ну, пока, ребята, – крикнул парень, – уезжаю, сами понимаете. Если будете в Киеве, заходите. Улица Яценко, дом пять, квартира тридцать семь. Казаков Володька...

– До свиданья! – крикнула Тамара. И мотоцикл умчался, взревев, оставив нам свое сизое облачко выхлопных газов.

И снова мы были вместе. Иван не поехал домой и ночевал где придется, скрываясь от Антонины. Была ночь, мы сидели одни на скалах, пили из горлышка дешевый портвейн. Что-то друг другу говорили, и никто никого не слышал. Потом замолчали.

Тишину нарушил гнусавый голос Длинного:

– Я когда дежурил ночью по лагерю, слышу шум какой-то. Думаю, надо проверить. Смотрю, а это в кустах Тамара сидит и сыт.

Мы засмеялись.

Часто и непонятно внизу дышало море.

Вечером после работы (Мужское счастье)

Мужское счастье приходит летом, или поздней весной, или ранней осенью, когда тепло, вечером после работы.

Вас трое: одного ты хорошо знаешь, ты живешь с ним в одном подъезде и работаешь в одну смену, а другого видел пару раз в столовой и еще где-то. Одного зовут... Иван, а другого... Петр.

Для того чтобы оно пришло, вы ничего специально не делали и ничего не ждали, и сейчас не ждете и не думаете о каком-то счастье – есть поважней о чем подумать, а просто решили выпить сегодня после работы, выпить захотелось, да к тому же сегодня получка была, как говорится – сам бог велел. И вы берете в магазине без очереди, когда в очереди стоят с бидонами и сумками женщины; они терпеливо ждут, только иногда покрикивают на вас, возмущаются, но так положено, и если бы сейчас стояли здесь ваши жены, они бы тоже ждали, пока вы возьмете без очереди. Наверняка... Вы берете две «белых», буханку черного хлеба, две банки килек в томате и пачки четыре плавленого сыра на сдачу. Колбасы нет, а то бы тоже взяли.

– Погоди, – говорит Иван, когда вы, расставив все по карманам, а буханку ты держишь в опущенной руке, идете от магазина. Тут за магазином сразу идут свои дома. В самом крайнем живет Иванова теща, ты знаешь это. Вы остаетесь у забора, Иван открывает калитку и, не заходя в дом, направляется в огород. Пес спросонок не разбирает, тьякает, и Иван тихо и незло матерится, тот примолкает, виновато вертит хвостом и гремит ржавой цепью. – Старый хрен, ослеп совсем, – ворчит Иван и идет дальше.

Но теще и этого достаточно, она у Ивана слышит хорошо и видит тоже. Она уже на крыльце, но и Иван уже на грядке. Он как бы случайно поднимает голову и, не разгибая спины, бросает:

– Здоров, мать...

– Здоров, здоров, – передразнивает его теща и начинает поливать.

Но Ивана этим не проймешь, он спокойно продолжает свое дело – выдергивает лучок вместе с головками и редиску. Редиска еще молодая, поздно теща посадила, что ли, листья обрываются и остаются в руке, а сама в земле. Тогда Иван отбрасывает листья в сторону, спокойно выковыривает редиску пальцем. Вы стоите с Петром, смотрите на Ивана и слушаете, как поливает теща.

– У м-ме-е-ня т-т-теща не такая была, – говорит Петр. Он, оказывается, заикается, и, когда говорит, у него дергаются жилы на длинной кадыкастой шее. – Я к ней п-при-и-хожу, говорю: м-м-ать, выпить охота, а Зинка денег не дает. Зинка – это б-баба моя... Т-так она враз в погреб, приносит б-б-бутылочку своей, огурчиков соленых, ка-а-апустки, а к-ка-артошка всегда на печке. Сяду я, налью ст-та-а-кан, выпью, за-а-кушу, а она, – голос Петра напрягается, видно, теща у него и впрямь хорошая, – сядет на-а-против меня, голову к-кулачком подопрет и смотрит. Кулачок у нее маленький, сама она сухая была старушка, Зинка не в нее пошла... – Петр замолкает, укоризненно и растерянно глядя на Иванову тещу, которая продолжает поливать. – Я пью, а она и говорит: «Дура Зинка, ежели мужик хочет выпить, он все равно выпьет. Так пусть пьет дома. Здесь и закусит хорошо, и валяться нигде не будет». П-правильно же? – спрашивает Петр и заглядывает тебе в глаза.

Ты киваешь и, покусывая травинку, смотришь на Ивана. Он поднимает колючие огуречные листья, ничего не находит и что-то говорит, но отсюда не слышно.

А Петр продолжает. Он сегодня уже вроде выпил. Пахнет от него. Не любишь ты таких вот дергающихся заик.

– Т-так я, б-б-ы-вало, так напьюсь, что она меня д-д-о-мой приводила или у нее оставался спать. Зинке только скажет, что я у нее остался, я – сплю. А утром еще и опохмелиться даст. В-в-о-от честно, не вру, – заканчивает Петр, сбитый с толку твоим невниманием.

Да ты веришь ему, была нужда ему не верить... И, продолжая поглядывать то на Ивана, то на его тещу, спрашиваешь:

– Жива?

– Кто?

– Теща, – поясняешь ты и смотришь на Петра.

– Померла, – говорит Петр, – в п-прошлом году похоронил.

Иван вроде закончил: в руке у него толстый пучок лука, зеленые перья опустились к земле, только две или три стрелки торчат, а карман пиджака, набитый редиской, оттопыривается.

Он идет спокойно, переваливаясь с ноги на ногу, – у него походка такая, и еще уши торчат, ушастый он, – мимо тещино дома, мимо тещи, которая продолжает поливать.

– В-вот поливает! – говорит Петр с жаром, с интересом и радостно, навалившись грудью на изгородь, смотрит на Иванову тещу. У него вытягивается шея, еще больше выпирает кадык и приоткрывается длинный тонкогубый рот.

Иван идет к калитке, оборачивается, стоит и смотрит с минуту на тещу. Он, видно, хочет что-то сказать, и совсем даже неплохое, по лицу видно, но теща поливает как из пулемета и размахивает руками. Выражение лица Ивана меняется, он поднимает свободную правую руку и, приставив грязный указательный палец к виску, крутит им туда-сюда. Теща замолкает, она только втягивает в себя растопыренными ноздрями воздух от злости и сейчас, кажется, может взорваться. Но Иван не боится, он поворачивается к ней спиной, открывает калитку и уходит. И вместе с ним уходите вы.

– Теперь месяца два нельзя показываться, – говорит, вздохнув, Иван, почему-то поднимает голову и смотрит вверх.

Тебе немножко обидно за Ивана, хороший мужик, а тут такая дура житья не дает, Иван рассказывал уже, и сейчас испортила настроение.

Вы идете по широкой, набитой в траве дороге, ты молчишь, даже Петр молчит, не болтает про свою тещу, только зачем-то посматривает себе под ноги, как будто ищет что-то. И Иван молчит, принимая в душе обиду и вину за то, что старая кошелка настроение испортила. Он же первый спрашивает:

– Куда пойдём-то?

В столовую вы не пойдете, туда можно сразу, только в такую погоду там сидеть в духотище неохота.

– П-па-айдем вон туда, за посадку, – показывает Петр рукой черт те куда. Он не торопится, он уже выпил небось... Но и вы, конечно, не торопитесь, только зачем в такую даль тащиться? Можно и здесь выпить. И вы останавливаетесь здесь. Рядом развилка местной железнодорожной линии, одна на одну шахту идет, другая на другую, только одна уже вырабаталась, а другая действует, здесь с Иваном и работаете. Перед вами на высокой насыпи – линии, с боков терриконы, сзади – дома свои с садами и огородами, а здесь – травка, и на нее вы бросаете сыр, консервы, хлеб, потом кладете бутылки.

– П-постой-ка, – останавливает тебя Петр, когда ты достаешь свой складной нож с одним большим лезвием и деревянной ручкой и собираешься открывать консервы. Он достает из бокового кармана пиджака аккуратно сложенную газетку и стелет ее на непослушной упругой траве. На газете все как-то приятнее. Петр ставит два больших граненых стакана и чашку, разрисованную цветочками. Стаканы не хотят стоять, их валит на бок трава, Петр их ставит, а они опять падают, и он отворачивается от них.

– Давай я открою, – обращается он к тебе и тянет руку за ножом.

Нет, ты не любишь таких вот дергающихся заик, ты давно уже открыл банки, а сейчас нарезаешь толстыми ломтями сыроватый хлеб, сначала вдоль, на две длинные половинки, а потом, сложив их, поперек раз пять.

Иван сидит на корточках и трет редиску о траву, счищая с нее сырую теплую землю.

– Чистить неохота, – объясняет он, не поднимая глаз, – в шкурке самые витамины, – и сглатывает слюну.

Вы знаете, что в шкурке самые витамины, и согласно молчите. А если бы это было не так, все равно спорить вы бы не стали. Сначала надо выпить, а потом можно поговорить и, может, заспорить даже, но вы сначала об этом не думаете. Иван берет бутылку, срывает пробку, отбрасывает ее в сторону, наливает водку в стакан, в чашку и последнему себе в стакан. Он разливает с таким расчетом, чтобы выпить бутылку за два раза, и вы смотрите, не отрывая взгляда, на прозрачную жидкость, называемую водкой; а покажите такого мужика, который в этот момент в сторону смотрит. Нет такого мужика...

– Ст-та-аканов только два осталось, – говорит Петр и, глядя с улыбкой на свою чашку, объясняет: – Из серванта вытащил.

– Баба уши поотрывает, – говорит Иван и внимательно смотрит, чтобы не перелить. Он, видно, тоже не любит таких дергающихся заик... Тогда зачем брал его с собой?..

– Не оборвет, – утверждает Петр.

Но ты перебиваешь его, сказав самое значительное, что когда-либо говорят мужчины, слово, в которое они вкладывают столько смысла, чувств и своего знания жизни, что ни одному писателю этого не передать, но ты, конечно, не думаешь об этом. Ты говоришь торопливо:

– Ну ладно, давай...

– Д-давай, – повторяет Петр, но ты его не слышишь, ты уже пьешь. Пьешь ты спокойно и уверенно, потому что знаешь, что не первая она и не последняя.

И Иван пьет, как ты, ну не точь-в-точь, но похоже, хорошо пьет. А Петр, конечно, глотает торопливо, чуть не захлебывается, кадык у него дергается, нет, не нравится он тебе, но ты на него не смотришь и не думаешь о нем. Ты нюхаешь хлеб, берешь луковицу, жуешь ее с сочным хрустом, закусываешь хлебом и говоришь:

– Солички б.

– Хрена у нее получишь, а не солички, – говорит Иван. Он тоже хрустит луком. Он, видно, еще не отошел.

– Да ладно, – говоришь ты, – успокойся. Что же сделаешь, если она такой человек? – Ты не любишь, когда люди зря расстраиваются.

– Она такой человек, – повторяет Иван, только с другой интонацией, громче. – Я-то знаю, какой она человек. Уж двадцать лет в зятях хожу. Она, если хочешь знать, – неплохой человек.

Нет, Иван все-таки хороший мужик. Взял вот и тещу пожалел.

– Это года четыре назад началось, – рассказывает Иван. – Они меня стали учить с бабой, как с людьми разговаривать. Две недели учили, я все терпел. Ну а потом не вытерпел, выпил, а теща гостила как раз у нас, спать осталась. Я спать лег, а они все учат и учат, спать не дают. Зло взяло, и стал я их учить...

Ты эту историю знаешь. Иванова жена и теща бегали тогда в рубашках босиком по коридору, стучали в двери и кричали, что убивают. Иван, конечно, их не убивал, но поддавал хорошенько и кричал: «Вот так надо с людьми разговаривать!» Да ты тогда еще с Симаковым Ивана успокаивал, Иван забыл, наверное.

Петр вытянул шею и внимательно слушает. Видно, задет какой-то нерв, может быть главный, самый больной.

Когда Иван замолкает, выговаривается и посматривает опять почему-то вверх, Петр говорит, не изменяя выражения лица, оно так же серьезно и внимательно:

– Я свою один раз па-а-п-пробовал поучить, так она меня на п-п-пятнадцать суток засадила.

– Я б ей засадил, – говорит Иван, и на скулах его, пробежав, скрываются тяжелые и крепкие желваки, даже уши шевелятся.

А ты ничего не говоришь ни про свою тещу, ни про свою жену, потому что тещи у тебя нет, она умерла в войну, когда и тещей твоей не была, а жена у тебя – молодец, хотя, конечно, и у нее завихрения бывают, и раза два даже погонять пришлось, правда, давно, молодые еще были, да зачем об этом рассказывать? Иван бы, он тоже не рассказывал, видно, здорово из-за тещи расстроился, ну а Петр – он человек такой дурной.

– Ладно, наливай, – говоришь ты, обращаясь к Ивану, чтобы прекратить этот разговор. Ты говоришь, понимая, что рано еще наливать – еще после первой толком не закусили, но Иван уже налил, и вы пьете.

Теперь можно отдохнуть. Ты дожевываешь кусок хлеба с наложенными на нем горкой кильками, срываешь травинку с жидкой метелкой, покусываешь ее и откидываешься на спину, вернее, на бок, полулежишь, упершись локтем в землю. Иван сидит по-татарски скрестив ноги и весело орудует ножом, очищая редиску от кожуры, – витамины витаминами, но когда земля после водки на зубах хрустит, тоже не очень приятно. Редиски становятся новенькими. Они одна за другой летят на газету, а некоторые летят в рот Ивану. Он между прочим жует их и продолжает работу. Петр сидит неудобно, на корточках, и, согнув худую длинную спину так, что костяшки хребта выперли, дымит папироской, не вытаскивая ее изо рта, щурит от дыма глаза и смотрит вниз, себе под ноги.

После второго стакана хорошо помолчать, особенно если после первого разговор не получился. И вы молчите. После второго стакана хорошо подумать. И вы думаете. Но о чем – вы скажете не сейчас, а когда возьметесь за вторую бутылку или даже позже, потому что сам Господь Бог не может сейчас утверждать, что эта вторая последняя бутылка сегодня последняя.

– Дай-ка в зубы, – обращается Иван к Петру и протягивает руку, не глядя на него. Петр вытаскивает смятую пачку «Севера», достает с самого дна папироску.

– Д-д-две осталось, – говорит Петр и добавляет: – Надо б-б-бы-было курева купить в магазине.

Иван закуривает, глубоко затягивается и медленно выпускает дым. Нет, не отошел он от тещи, здорово она его задела. Он вообще мужик обидчивый. И после того случая он полгода не разговаривал, не то чтоб выпивать, только здоровался. Он ведь здоровый. С ним и втроем трудно справиться. Симак тоже мужик здоровый, а еле успокоили тогда. Нет, обидчивый все же Иван. Зато не шепутной. А что тогда случилось, то, видно, Валька его довела. Да и помоложе он тебя. Года на три или четыре. Тебе не хочется больше ничего говорить Ивану, успокаивать его, мужик должен быть всегда мужиком, и ты сплевываешь стебелек, берешь штуки три очищенные редиски и бросаешь их в рот. Солички б...

Петр докуривает папироску, вернее, она гаснет, и он забывает про нее. Сейчас он что-нибудь скажет...

– Я од-д-дин раз у тещи напился... Б-бу-у-тылки две самогонки выпил. Та-ак я, когда спал, весь кровать-диван ей об-об-обоссал... Полный поддон налил. – Петр смотрит на Ивана с заискивающим интересом, ожидая смеха, но Иван молчит.

– Бывает, – говоришь ты, накладывая на хлеб кильки, и еще раз думаешь о том, что не любишь таких вот заик, ну не дурак ли, опять начал про тещу. Ты кладешь хлеб с кильками рядом с собой на траву и, ничего не говоря, берешь вторую бутылку, срываешь с нее пробку и, обращаясь к Ивану и к Петру, произносишь то самое слово:

– Давай. – Просто, спокойно и убежденно получается у тебя оно, но ты об этом не думаешь. Ты съедаешь хлеб с кильками и говоришь про статью, которую ты в журнале «За рубежом» прочитал. Ученые в Америке открыли, что гриппом люди от свиней заражаются. Для Ивана

и для Петра это новость. Петр дергает удивленно головой, что-то пытается сказать, но не получается. Видно, когда выпьет, он совсем сильно заикается.

– Надо свою свинью скорей резать, – задумчиво говорит Иван, и, хотя в это время года их никто не режет, он, похоже, сделает так, как сказал. Он тоже откидывается назад, упирается в землю локтем и покусывает травинку. После третьей достаточно намек на разговор, и во всем, что было неясно и нельзя было разобраться часами, вы разбираетесь минут на десять-пятнадцать. Все, как говорится, становится на свои места, но вы об этом не думаете. И вы спокойно приходите к выводу, что американцы, может быть, и правы, они не дураки, но не зря же грипп то гонконгским называется, то каким-нибудь арабским. Тут наверняка дело без китайцев не обходится.

Иван поминает нехорошими, но правдивыми словами Мао Цзедунa, и Петр прибавляет, заикаясь и краснея от искренности чувств, еще несколько слов, от которых кормчему наверняка больно икнулось на том свете.

– Картер тоже скотина, – говорит Иван, сплевывая.

И вы с Петром соглашаетесь, что Картер скотина, да еще какая, наши сначала думали, что он по-хорошему будет, но он скотиной хорошей оказался. Все они хороши, приходите вы к выводу, один Кеннеди был ничего, но его сразу убрали. Потом вы говорите про Кубу и хвалите Кастро за то, что он никого не боится, и начинаете спорить: есть ли на Кубе наши ракеты? Иван с Петром утверждают, что есть, а ты говоришь, что нету, их еще в шестьдесят первом по договору наши убрали, но в конце концов приходите к выводу, что подлодки наши там недалеко, и это вас мирит и успокаивает. И чем больше вы говорите о политике, вспоминая, кто где что читал, тем с большей ясностью сознаете, что две «белых» на троих – мало. Но никто об этом вслух не говорит. Это хорошо, что вы не заспорили, не разругались, а поговорили по душам, и ты посматриваешь на Петра, и тебе начинает казаться, что он неплохой мужик. Бутылку, в которой еще граммов триста водки, ты придерживаешь рукой, чтобы не упала. И вот наступает пауза, потому что надо сказать очень важные для этого случая слова и слово. И это слово вдруг произносит Петр, совсем не заикаясь. Он говорит:

– Давай!

Ты согласен с ним, поднимаешь бутылку и разливаешь все, что осталось: Ивану, Петру и себе, а потом отбрасываешь бутылку в сторону. Вы выпиваете, даже Петр пьет сейчас спокойно, не дергается, ты сплевываешь последнюю каплю через губу, считая почему-то, что там – осадок; Иван вытирает подбородок ладонью – пролилась немного; Петр берет сыр, разламывает его, быстро сдирает фольгу и ест с хлебом. А вы с Иваном берете лук, его еще немного осталось. Лук не очень вкусный – старый, что ли, но надо же доедать.

Теперь вы разговариваете о работе, об одном вам известном десятнике Ведмеде, соглашаетесь, что Ведмедь мужик справедливый, не обидит зря работягу; потом вспоминаете начальника шахты Конягина и соглашаетесь с тем, что он – скотина хорошая, ему только план давай да по субботам на работу выходи, а по-хорошему – нет; потом говорите про Ивакина с третьего участка. Он самым первым полгода назад ушел на пенсию, после того как пенсию повысили шахтерам, и немножко с завистью, но больше с удивлением говорите про живого здорового мужика Ивакина, который ничего не делает и получает сто пятьдесят рублей. Раньше хребет ломали за девятьсот рублей старыми, редко когда тысячу двести, и считали – ух! – деньги большие. Тогда, конечно, потяжелей жилось, а работу не сравнить, но шахтеров тогда уважали. Сейчас не то... Времена меняются, конечно, раньше тракторист в деревне был главный человек, все равно что летчик, а сейчас пьянь одна да пацаны. И так вы говорите и говорите, спокойно, соглашаясь друг с другом, но говорить все труднее, что-то мешает разговору, и вы знаете что...

– Ладно, – говорит Иван, смотрит почему-то вверх, но это не значит – поговорили и пойдем, он говорит свое «ладно» совсем по-другому, что означает: вы посидите тут, а я сейчас

приду. Но он не встает сразу, потому что, пытаясь, медленно ползет паровоз, везет с шахты уголь. Из окна паровоза высунулись грязные рожи машиниста и кочегара, они смотрят на вас и ничего не говорят, а только смотрят на вас, сидящих на траве у расстеленной газеты, на которой закуска, а вы смотрите на них, ничего не говорите, а только смотрите на них, чумазых, в старых засаленных кепках, внимательными и немного усталыми глазами. Вагоны проходят медленно, рельсы тяжело, привычно прогибают спины, а машинист и кочегар не скрываются, они тянут шеи и всё смотрят на вас. Отъехав метров на сто, паровоз гудит, пускает пар, хотя впереди никого нет, он гудит и пускает пар, и почему-то совсем он не похож на механизм, он скорее зверь, неведомый науке, большой, добрый и усталый, а может быть, даже человек.

– М-м-мо-о-жет, вместе па-айдем? – спрашивает Петр и пытается подняться.

– Сиди, – спокойно говорит Иван и уходит от вас, широко и уверенно расставляя ноги, переваливаясь с боку на бок. Он поднимается, чуть подавшись вперед на насыпь, выпрямляется наверху, перемахивает через рельсы и скрывается, спускаясь с той стороны насыпи.

Некоторое время вы сидите молча, потому что понимаете, что компания нарушена – двое не трое. Петр курит и спрашивает, не куришь ли ты. Ты отвечаешь, что нет, и рассказываешь, что бросил восемь лет назад.

– А я не могу б-б-бросить, – говорит Петр. – Мне врачи запретили ка-ка-категорически. – Он молчит, снова прикуривает, потому что папироса погасла, и повторяет: – Ка-ка-ка-ка-категорически. – Он улыбается. Видно, ему нравится это слово.

– Ну и дурак, что не бросаешь, – говоришь ты спокойно.

Петру, наверное, только этого и надо было, голова его подается вперед, а рот растягивается в хитровой улыбке:

– Зн-н-на-а-ешь, когда они мне курить запретили категорически? – И ждет твоего вопроса, потому что ты, конечно, не знаешь.

– Ну? – говоришь ты.

– В сорок пятом еще. – Петр с интересом смотрит на тебя, стараясь понять, удивляешься ты или нет.

Ты спокойно смотришь на него и ничего не говоришь.

– По-о-од Берлином пуля в легкое попала, так там и сидит. – Ты все равно смотришь на него спокойно и ничего не говоришь. – Не веришь? – с удовольствием спрашивает Петр. – То-то-то-очно тебе говорю. Да я с мужиками сколько раз спорил. Симака знаешь?

Ты киваешь. Еще бы тебе не знать Симака, если ты живешь с ним в одном доме и работаешь на одном участке.

– Мы с ним на литр по-о-спорили. По-о-том на ренг-рен-ген пошли. Сделали рен-рен-рен-ген, точно – пуля. По-о-ставил Симака литр.

Ты вспоминаешь, Симака как-то рассказывал тебе эту историю и зарекался больше в жизни ни разу не спорить. Нет, Петр неплохой мужик, но тебя интересует один вопрос, и ты спрашиваешь:

– С какого же ты года?

– С два-адцать девятого, – отвечает он охотно.

– С двадцать девятого? – удивляешься ты. – А я с тридцатого. Когда же ты успел?..

– Я ж д-д-длинный был, ка-ак строило, документы сгорели. Родных тоже никого. В с-сорок четвертом переписывать п-пришли, с-спрашивают: восемнадцать есть? Есть, г-о-о-оворю. Хрен ее знает, зачем так ск-ка-азал. – Петру до сих пор непонятно, зачем он так сказал, это видно по его лицу, даже по тому, как медленно он достает спички и прикуривает погасшую папиросу. – То-олько войны почти не видел. В пе-ервом бою под Кен-кениг-ке-кен, – Петра заедает. Ты хочешь ему как-то помочь, торопливо говоришь «под Кенигсбергом», но Петр хочет произнести это слово сам: – Кен-кенис-ке-е-ни-исбергом, – и ползадницы, считай, оторвало. А под Берлином – легкое. По-о госпиталиям и провалялся. – Петр докуривает

папироску до конца, бросает ее и сплевывает себе под ноги. Он и сидит на корточках согнувшись, как только не устал... – Я с войны пришел, ну с медалями, по-онятное дело, му-ужик почти. Ну бабу нашел. Они тогда го-о-лодные б-бы-ыли. Да и мы то-о-же. Ну она мне и говорит: «Снимай кальсоны, чего ст-тоишь», а мне – стыдно. Думал, сейчас за-адницу мою увидит – прогонит... Не п-прогнала... – Петр смеется, склонив голову набок и заглядывая тебе в глаза. Ты улыбаешься и думаешь, что хороший Петр мужик и заикаться он, верно, на войне стал.

– Ты на какой шахте работаешь, Петь? – спрашиваешь ты, впервые назвав его по имени.

– На седьмой, – отвечает Петр. Он опять опустил голову и смотрит себе под ноги.

– А чего к нам попал?

– А-а, – мотает Петр головой. На этот вопрос он отвечать не хочет, и ты понимаешь, что это связано с его женой, которая сейчас стережет его в магазине на седьмой.

Вы замолкаете. Ты поднимаешь голову и смотришь вверх. Небо светлеет, как это всегда бывает перед тем, как садится солнце. На земле уже прохладно лежать, но ты не двигаешься, потому что неохота.

По линии идут четверо парней, волосатиков, как ты их зовешь. Один держит на полусогнутой руке маленький магнитофончик, который орет что-то не по-русски. Ты не любишь волосатиков, при виде их внутри у тебя закипает злость, и ты стараешься не смотреть в их сторону. Волосатики останавливаются, о чем-то говорят и начинают спускаться к вам. Вы с Петром не смотрите на них. Они останавливаются рядом метрах в трех и смотрят на вас, на закуску, на пустые бутылки. Тот, у кого магнитофончик, он самый здоровый, прикручивает звук и говорит хрипло и зло:

– Дай закурить.

Петр вытаскивает из кармана пачку, смотрит в нее, потом показывает волосатикам – пустая.

– Не-ету, – говорит Петр.

Но волосатики не уходят, они продолжают стоять, тупо глядя на пустые бутылки и на вас в надежде, что, может, перепадет выпить. Кулаки сами по себе сжимаются, ты поднимаешь голову, смотришь в их прыщавые лица, хоть тебе и противно на них смотреть.

– Чего стоите? – спрашиваешь ты.

– А тебе что? – хрипит тот же, видимо, довольный тем, что все начинается так быстро.

– Сказано нет – значит, нет, поворачивай и вали отсюда, – говоришь ты, поднимаясь, и видишь, что Петр поднимается. Волосатики расходятся полукругом. Тебе не страшно, страшно только, что любого из них ты можешь убить.

– Ну, кому башку проломить? – грозно спрашивает сверху Иван. Он стоит на насыпи, в руках у него две полные бутылки без этикеток, он держит их, как гранаты. Сказав это, Иван торопливо спускается вниз, ставит бутылки на газету, подходит к здоровому, берет его за локоть и, сказав: «Пойдем поговорим», отводит в сторону. Он коротко и зло говорит что-то здоровому, а тот тупо кивает.

«И иди отсюда», – единственное, что слышите вы.

Иван поворачивает волосатика и подталкивает его в спину. Тот, не оборачиваясь, уходит, за ним убираются остальные.

Ты ругаешься сквозь зубы и садишься на траву. Чудом не получилась драка, и тогда было бы все испорчено, здорово испорчено.

– Ты его знаешь? – спрашиваешь ты у улыбающегося почему-то Ивана.

– Знаю, – отвечает Иван коротко, он не хочет говорить, откуда он знает волосатика, какие у него с ним дела. Но это не важно. Важно то, что не получилось драки, а то бы все было испорчено.

Иван по-прежнему улыбается, готовится рассказать что-то интересное.

– Женщина хорошая попалась. Она по два рубля за бутылку берет, а у меня только пятерка. А у нее рубля сдачи нет. Ладно, мать, говорю, пусть будет по два пятьдесят. Нет, говорит, бери тогда на рубль закуски!

И Иван с удовольствием начинает вытаскивать из карманов пиджака хлеб, грязные куриные яйца с прилипшими кое-где рыжими перышками, несколько долек чеснока, спичечный коробок, в котором шуршит соль, а под конец – завернутый в газету небольшой кусок старого желтоватого сала. Новая выпивка и неожиданная новая закуска заставляют вас иначе смотреть на все, и в первую очередь на выпивку и закуску. Ты даже о волосатиках забываешь.

– У меня сына в прошлом году за-за-за-а-резали так...

Ты поднимаешь глаза и смотришь на Петра, а он не смотрит на тебя и на Ивана не смотрит.

– Насмерть? – вырывается у тебя ненужный вопрос.

Петр быстро кивает:

– На п-про-водах. В армию соседского парня провожали, и я там был. Пе-ередрались ребята. Один тесак вытащил в-в-о-от такой, – Петр широко разводит большие ладони с желтыми от курева пальцами, – и в грудь ему. Н-на-а месте убил. М-ме-еня с-с-свя-азили.

Ты молчишь. Ты не спрашиваешь, сколько лет кому дали, какая разница...

Ты вытаскиваешь свернутую из старой тряпки мокрую пробку, выбрасываешь ее к чертовой матери и собираешься налить самогонку в чашку Петру, но рука твоя застывает в воздухе, потому что Петр говорит последнее, хватая ртом воздух и запрокидывая голову:

– Я та-та-та-агда за-а-а-аикаться ст-тал.

Твоя рука с бутылкой замирает, и ты сам замер, и Иван замер, только Петр сидит на корточках и смотрит внимательно себе под ноги, будто что ищет.

– Ладно, – говоришь ты и повторяешь: – Ладно, давай... – Ты разливаешь самогонку и говоришь: – Давай... твоего сына помянем и за детей выпьем...

Ты никогда не любил и не любишь тостов, считая их ненужными и искусственными. Если пить, так пить, а болтать охота – болтай себе на здоровье, но ты сейчас и не произносил тоста, ты просто сказал...

Петр опять пьет торопливо, кадык дергается, и самогонка в горле громко укает. Она вонючая, зараза, но крепкая, и вы мотаете головами, говорите друг за другом, что она вонючая, зараза. Сало под самогонку идет отлично, и ты ешь сало. И любишь ты пить сырые яйца, молодец та женщина, и Иван молодец. Ты берешь яйцо, осторожно разбиваешь его острием ножа, отколупываешь скорлупу как можно больше, сыплешь щепотку крупноватой сыроватой соли, размешиваешь хорошенько спичкой и выпиваешь его в два глотка.

Ты смотришь на Петра, он ничего не ест. И вдруг в середине у тебя начинается что-то жечь, ты щуришь глаза, чтобы на них не загорелись слезы, но это не самогонка, она здесь ни при чем. Это – сын. Он у тебя не волосатик, хоть и молодой еще, он сейчас в Минске, поехал туда после института по распределению, он у тебя не кто-нибудь, а юрист. А жена его – врач. Год они уже там, пишет, что нравится им там, город хороший и люди. Скоро за Виталиком приедут. А ты так любишь внука, что не знаешь, как будешь его отдавать.

И Петр щурит глаза, хотя папиросы у него во рту нет. У него двое осталось. И такие же волосатики, как и тот, дерутся без конца, пьют, одному уже два года условно давали. Петр щурит глаза, что-то ищет у себя под ногами, и кадык у него медленно двигается вверх-вниз, хотя он не пьет и не ест сейчас ничего.

– А у меня девки, – говорит Иван спокойно и смотрит наверх.

Ты знаешь: у Ивана девки, пять девок, и все такие нескладные, ушастые, вылитый отец. Никого они не боятся и бьют пацанов смертным боем, почуяв даже намек на обиду. Иван говорит, что он жену замотает, пока она пацана не родит. Сейчас она опять ходит беременная и всем бабам в доме на Ивана жалуется, а те жалеют и смеются.

– Все равно она мне пацана родит, – говорит Иван твердо и смотрит вверх, и ты вместе с ним смотришь вверх.

Все равно она ему пацана родит. И ты начинаешь рассказывать про своего сына, хоть этого и не нужно делать, потому что ты хвастаешь. Ты понимаешь, что нельзя хвастать, не надо, но не можешь остановиться. Ты рассказываешь, как приняли твоего сына в Минске, какую ему сейчас дали квартиру и какая она хорошая – полы паркетные, с лоджией, хотя точно не знаешь, что такое лоджия, но так написал сын. И еще рассказываешь, какая у сына хорошая жена, красивая, и к тому же врач. А внук...

Петр слушает тебя внимательно и ловит каждое твое слово, как прилежный ученик слушает любимого учителя. Он уважает тебя. Уважает потому, что у тебя такой сын, потому, что ты смог воспитать такого сына, а себя он не уважает потому, что не смог воспитать, и они выросли волосатиками, пьют да дерутся, а все равно, пусть их только кто обидит, он убьет за них любого, и тогда, на проводах, если бы его не связали, неизвестно, что было бы...

Иван опять улыбается. Он вспомнил что-то хорошее.

– Это... – говорит он, ему не нравится разговор, какой ты повел, да ты и сам понимаешь и поэтому замолкаешь, но сейчас ты можешь замолчать – в середине жечь перестало. – Это... – повторяет Иван, – в «Крокодиле» карикатура нарисована была. Стоят в загсе парень и девка. Оба в костюмах и волосатые, лица не видно. Ну а тетка эта, которая расписывает, и говорит: «Кто ж из вас жених, а кто невеста, не пойму никак!»

Ты смеешься, и Петр смеется, и сам Иван смеется. Он дергает шеей, утирает слезы и мотает головой, приговаривая:

– Юм-ю-ма-ристы.

Ты согласен: там, в «Крокодиле», юмористы, настоящие юмористы работают, нарисуют – так уж нарисуют. И ты вспоминаешь какую-то карикатуру из «Крокодила», и Петр, но они уже не такие смешные; и под эти разговоры, смеясь, проходит женщина или две с хозяйственными сумками и сетками, из которых торчат кульки с макаронами, песком и другой семейной едой, а еще буханки хлеба. Они поворачивают в вашу сторону головы и смотрят, может, надеясь увидеть своего. А вы поднимаете голову и смотрите на них...

Земля становится холодной и тяжелой, ты садишься на корточки, точь-в-точь Петр, и говоришь ему:

– А ты чего не ешь ничего? – и указываешь на газету, на которой лежат яйца, сало, лук и хлеб. Он хороший мужик, плохо только, что пьет и не закусывает.

– Не хочется, – виновато говорит Петр и прибавляет: – Закурить бы.

– Нету? – спрашивает его Иван.

Петр молча мотает головой.

– Тогда пошли, – говорит Иван, поднимаясь.

Ты согласен с ним, здесь делать уже нечего, да и холодно здесь лежать. А допить можно и в другом месте. Вы поднимаетесь, отбрасываете в стороны пустые банки. Из клочка газеты ты свертываешь пробку, затыкаешь бутылку, пристраиваешь ее в боковой карман и как бы нечаянно, но очень кстати дотрагиваешься до пластмассовой обложки от записной книжки, в которой ты носишь документы, а сейчас лежит и получка. Потом ты подбираешь с земли яйца и засовываешь их в карманы Ивану, и, хоть он не сопротивляется и не отказывается, почему-то ты его убеждаешь:

– Ладно, вот когда у тебя пацан родится, тогда и будешь отказываться, а пока у тебя девки – молчи... Вот так... – Ты понимаешь, что значит иметь пятерых, какая разница – девок или пацанов. Иван почему-то не противится, молчит, и ты засовываешь ему в карман остатки сала.

– Пошли? – спрашиваешь ты.

– Пошли, – соглашается Петр и кивает головой.

– А стаканы? – спрашиваешь ты.

– А стаканы? – спрашивает Петр.

Он медленно наклоняется, поднимает стаканы и ищет чашку. Она тихо хрустит под подошвой ботинка. Он прислушивается, поднимает одну ногу – не ту, потом другую – ту, смотрит на осколки. Потом он опускает ногу и говорит, глядя на вас виновато и заискивающе: – В серванте еще остались. – Он боится, что вы расстроитесь из-за чашки. Но вы, конечно, не расстраиваетесь.

Просто ты засовываешь в карман стакан и не можешь никак это сделать. Что-то мешает. Эх, старый, забыл, что внуку конфет купил... шоколадных... Ты осторожно вытаскиваешь кулек из кармана и разворачиваешь его, как великую ценность. Берешь одну конфетку и протягиваешь ее Ивану, а другую Петру. Потом ты берешь третью конфетку и держишь ее на ладони, думая, не мало ли там останется для внука, решаешь, что остается мало, и кладешь конфету обратно.

– Пожадничал! – говорит Иван и бьет тебя по плечу так, что ты еле на ногах стоишь. Он смотрел, оказывается, на тебя, а теперь смеется, и Петр тоже.

– Ага, – улыбаешься ты, часто моргая, – для внука, жалко...

– Не жадничай! – говорит Иван. Он разворачивает конфету, бросает ее в рот и спокойно и равнодушно жует, и невозможно понять, что он сейчас жует – конфету, хлеб или колбасу. Так едят собаки, не раздумывая и не смакуя, сразу, но все равно хорошо едят собаки, так, как сейчас ест конфету Иван.

А Петр забыл про свою конфету, она тает, с силой сжатая в жилистом кулаке.

– Не жадничай, – говорит Иван, – а то баба выгонит.

И вы идете домой. Ты оказываешься посредине, рассказываешь про внука, какой он у тебя умный, послушный и как он громко кричит: «Деда!» – и бежит к тебе, обхватывает за ноги, когда ты приходишь с работы. Ты хвастаешь, ты, конечно, хвастаешь, но тебя внимательно слушают, потому что то, что ты говоришь, очень важно, это, может быть, самое важное, что есть в жизни. Особенно внимательно слушает тебя Петр. Он вытягивает шею и заглядывает тебе в глаза.

– Ну ты как, на автобусе сейчас? – спрашивает Иван у Петра, когда вы подходите к дороге. Она пуста, уже темно, холодно и людей совсем не видно.

Петр молчит. Вы понимаете, что Петру совсем не хочется, ему хочется другого, совсем другого, ему хочется побыть с вами, поговорить, тебя послушать и выпить, конечно, но вы знаете слово «надо», и Петр это слово тоже знает.

Ты думаешь про жену. Она чувствует, конечно, что ты сейчас делаешь, и волнуется, темно уже. И пошумит, конечно, а утром дуться будет, говорить, что сыну напишет про твое пьянство, это она так говорит – пьянство, а ты грозно скажешь: «Только попробуй, напиши», – она, конечно, не напишет, только говорит. Потом ты выйдешь на улицу, сядешь на лавочку, а чуть попозже выйдет Иван, и вы вместе за сарай пойдете. Там у Ивана где-то полбутылки спрятано, похмелитесь...

Сзади бьет свет и громыкает разбитым кузовом самосвал. Иван поднимает руку и пронзительно свистит. Самосвал пролетает сначала мимо, резко тормозит и останавливается в метрах тридцати. Иван бежит к нему, что-то говорит шоферу, свистит вам и машет рукой, вы бежите к машине. Но Петр не хочет садиться в машину, он стоит около открытой дверцы и ничего не говорит, только смотрит на вас, а глаза его по-доброму честно говорят: давай!

Да и ваши глаза то же самое говорят.

Ты быстро вытаскиваешь бутылку, Петр – стакан, и ты наливаешь ему полный, в бутылке ничего нет больше.

– Давай, – обращаешься ты к Петру. Петр отпивает третью часть, не морщится и протягивает стакан тебе.

– Давай, – повторяешь ты.

– А вы как же? – удивляется Петр, он, когда выпьет, оказывается совсем не заикается.

– Мы себе найдем. – Иван знает, что говорит.

– Ну ладно, – говорит Петр и в два глотка допивает и со всего размаху хряпает стакан об землю. Осколки не больно бьют по ботинкам и штанинам.

– Ноги порежешь, – предостерегаешь ты. Но Петр тебя не слышит, он делает к тебе шаг и вдруг крепко обнимает тебя и целует тебя мокрым от самогона ртом в щеку, царапает своей щетиной твою. На щеке ты чувствуешь слезы Петра. И ты чувствуешь, что слезы Петра честны и святы, но ты не думаешь об этом.

– Ладно, ладно, – успокаиваешь ты Петра и себя.

– На вот, закуси, – говорит быстро Иван, сует Петру кусок сала и прибавляет почему-то яйца...

Петр валится на сиденье, рядом с недовольным шофером, выпрямляет спину, кладет ладони на колени, как прилежный ученик, и смотрит на вас тихими благодарными глазами.

Иван с силой захлопывает дверцу, машина срывается с места, но прежде чем пропасть в темноте, несколько раз отрывисто и пронзительно гудит сигнал...

Это Петр, мешая шоферу, библикнул вам на прощание.

Красный огонек машины пропадает, и вы остаетесь вдвоем, и Иван снова говорит: «Яйца... – и только потом поясняет: – подавил». Он вытирает ладони с приклеившейся скорлупой о пиджак и говорит, что придет домой, подаст его Вальке и скажет: «Вальк, сжарь яичницу». Ты соглашаешься, что это он неплохо придумал, только пиджак жалко все-таки. Иван кладет тебе руку на плечо, и ты кладешь Ивану руку на плечо... Так ты ходил со своим другом – Витькой Плетневым, когда пацаном еще был, да твой сын ходил так со своим другом Серым, когда пацаном был. Давно ты так не ходил. И Иван давно так не ходил. Но вы сейчас об этом не думаете, это я...

Вы идете, положив друг другу руки на плечи, по самой середине дороги и думаете о том, как трудно будет сейчас искать в дровах полбутылки, но все равно вы найдете ее.

Иван громко и старательно, как артист, поет песню, какой ты ни разу еще не слышал. В ней как будто вор поет, что сейчас он строит в тайге маленький городок и очень грустит, а когда выйдет срок, приедет к милой. И воровать он на время завяжет, а будет любоваться ее красотой. Ты не умеешь петь, и даже не любишь, нет, любишь, но стесняешься как-то, но сейчас ты подпеваешь окончания слов, негромко и немного не в лад, но все равно – хорошо! И вы идете так и не смотрите ни вверх, ни вниз, потому что там все в порядке, нормально:верху – небо, а внизу – земля...

...А может быть, мужское счастье приходит не совсем так или совсем не так, иначе... Но не в этом дело.

1978

Воспоминания о детях (Женское счастье)

Воспоминания о детях случаются, когда дети уже большие, у них у самих дети, но они все же глупы и зелены, ничего в жизни не понимают, кроме того, что надо получать квартиру получше да зарплату побольше, но самое главное, они не понимают, что это такое – воспоминания о детях.

Воспоминания о детях случаются в праздничные вечера, на Первое мая, Новый год или на Октябрьские, когда после суматошного пьяного дня, после короткого сна и прогулки на свежем воздухе все снова собираются за столом. Мужчины – отец и сын, а может и сват, он же тесть, и еще кто из родни сидят по разные стороны стола, а может и вместе, на диване. Их чубы и остатки чубов прилипли к вспотевшим лбам, они хмельны и покойны. Иногда они позволяют себе вставить в разговор пару слов для хохмы и сами смеются громче всех, а остальное время смотрят со спокойным благодушием на свое широкое в плечах и талии сокровище – жену. Мужчинам хорошо, очень хорошо, на столе стоят чашки с нетронутым чаем, тарелки с вареной картошкой, залитой растопленным, уже застывшим мутновато-желтым сливочным маслом, запотелые загнувшиеся узкие листочки сыра, поломанные шпротины и еще что-то, но главное – в бутылках еще осталось, понемногу, но почти во всех, и от этого им совсем хорошо. И женщины сегодня немножко пьяны, самую чуточку, чужой и не разберет – глаза усталые, а блестят. Но чужой здесь появиться не может, такого просто не может быть, потому что здесь все свои, и сейчас начнутся воспоминания о детях...

Воспоминания о детях начинаются обычно с того, что одному из мужчин, тестю или свекру, хочется вдруг посмотреть внука, а другой – свекор или тесть, с радостью его поддерживает. Зажечь свет они не решаются, потому что боятся шума и жен, и в полутемной, немного душной комнатке, склонясь над коляской, которая стала на время, пока дети в гостях, – кроватью, щуря глаза, всматриваются в чужое непонятное лицо ребенка, стараясь не дышать, шумно дышат всем, чем пахнет выпитое и съеденное за этот длинный счастливый день. Они по очереди щупают под ним пеленку, чувствуя ладонями детское горячее тепло, и говорят друг другу, что не описался, молодец, и соглашаются, что не описался, молодец. И если им удастся не разбудить ребенка, и если из-за этого не поднимается шум и они не получают пару злых жениных тычков в бок, если они выходят, улыбаясь или просто щуря глаза от света, убеждая друг друга, что он похож на тебя, сват, нет, на тебя, а в душе про себя уверенные, что он похож только на него самого, ну и, понятное дело, на сына, на дочь, если они садятся снова на диван и слегка задремывают или просто затихают – начинаются воспоминания о детях.

Воспоминания о детях начинают женщины – мать или теща, мать или свекровь, не такие старые, но уже бабки. Они сидят на табуретках, немного сутуля спины, широко расставив полные уставшие ноги и положив ладони на подолы праздничных цветастых платьев. Это одна из них, может быть самая счастливая сейчас и немного нетерпеливая, смотрит на своего сына и говорит:

– А ведь в школе учился, какой хулиган был, ну прямо хулиган, так учительница Клавдия Васильевна и говорила. Один раз нашел на помойке тухлое яйцо, копались по помойкам ведь, поросята, взял это яйцо да и соседке в форточку зафинтилил...

Она не сказала: бросил, кинул или швырнул, так было бы сказано о другом. А ее сын зафинтилил тухлое яйцо соседке в форточку.

– Вот не поверите, – продолжает она, – так и думала – колонии ему не миновать. И ничего ведь не сделаешь, – она замедленно всплескивает руками, обращаясь к слушающим, – здоровый уже, бить не станешь. Да мы его и не били особенно, – прибавляет она и, сцепив ладони, укладывает их на место – на подол.

Отец морщит лоб, стогняя дурную вечернюю муху, а сын поднимает голову, поводит глазами и, как добрый, но норовистый конь – все понимая, но не умея сказать, скалит в широкой улыбке зубы. Он сегодня перебрал.

– Ладно уж, – успокаивает его молодая, раздобревшая после родов жена, шлепает ладню меж лопаток и с высоты своего более трезвого превосходства добавляет: – Сиди.

А он и не думает вставать. Ему и сидеть хорошо, может быть, так хорошо, как бывает хорошо мужчине за всю его жизнь раз двадцать, от силы – двадцать пять.

– Да с нашей тоже намучались, – начинает свои воспоминания другая мать. – Училась в восьмом классе еще, а, правда, оформилась уже, выше меня ростом была, поехали мы летом в Гудауту отдыхать. Так эти паразиты грузины так и пилили глаза. А то и скажут еще чего-нибудь. Я краснею, а ей хоть бы что! Я остановилась да так одного отчехвостила! А ведь пожилой уже, паразит, седой весь и одет хорошо. Я, значит, отошла, подхожу, а он с ней разговаривает. И она, главное, улыбается... Ах ты, говорю, старый хрыч, да где твои жена-дети, что же они дома тоже на улице к людям пристают, ах ты, кобель бесстыжий, говорю. Засовестился, ушел... – Она замолкает, подняв голову вверх и улыбаясь, чтобы, передохнув, продолжить рассказ. Но прежде чем продолжить, она говорит, взглянув на сваху: – Да-а! – подтвердив правдивость сказанного, и, на секунду вновь замолкнув, продолжает: – Так она мне потом сцену устроила, мол, так нельзя с людьми разговаривать...

Дочь что-то пытается сказать, возразить, но мать не дает. Она бросает на нее строго успокаивающий взгляд, приговаривая:

– Ладно-ладно, помолчи, разговорчивая стала... Меня зло взяло. Ах ты, думаю, соплинка такая, разговаривать научилась! Везла я веревку, да веревкой – будь скромнее! Так она сразу – мамочка, прости, я больше не буду... Как рукой сняло! – Мать замолкает, постепенно остывая и успокаиваясь, и ладони укладываются на место, на подол, рядом с большим животом, и она вдруг так хорошо и радостно смотрит на дочь...

– Да куда там, веревкой, обобралась прямо вся... – стараясь быть безразличной, бросает дочь в сторону.

– Ладно-ладно, доченька, – говорит мать, спокойно кивая головой, – что было, то было, чего ж скрывать, люди все свои...

Муж дочери вскидывается и смотрит на жену грозным петушком. Тот седой грузин надолго поселится теперь в их семье, если, конечно, не выветрится из головы завтра вместе с хмелем.

– Ладно уж, сиди, – спокойно останавливает его жена и надавливает рукой на его широкое костистое плечо. А он и так сидит, он и не думает вставать, ему и так хорошо, и даже если и был грузин, ему все равно хорошо.

Воспоминания о детях начинать так очень опасно, это может вылиться в перебранку и даже скандал, но именно так они чаще всего начинаются.

Не такой уж сын был и хулиган, а если когда по-настоящему и хулиганил, по сравнению с чем яйцо, которое он зафинтилил в форточку соседке, – сущий пустяк, то мать об этом не знает, не надо ей об этом знать. Ну а дочь и подавно: разве беда большая, что с грузином заговорила... А о том, что случилось в десятом классе, она еще с вечера на восьмое марта из школы поздно вернулась, мать хоть и поругалась тогда, но ничего не заметила, и потом случилось, а она так и не замечала, об этом она не знает, незачем ей теперь об этом знать... Дело не в этом...

И начинаются воспоминания о других детях, о тех, кого сейчас здесь нет, они служат в армии или работают где-нибудь в Магадане, там у них чистыми почти четыреста рублей выходит, или на Украине – там климат хороший, или даже в Москве – там снабжение отличное, но жить все равно трудно, слишком уж много народу: страна у нас большая, есть куда детям уехать. А если детей больше нет, то тогда продолжают воспоминания о детях, которые сейчас

здесь сидят, так не похожие на тех детей, которые в воспоминаниях... И если воспоминания начинаются с того, что сын в школе хулиганил, а дочь в восьмом классе с грузином заговорила, то дальше дети становятся меньше, они переходят в пятый класс: он без троек, а она со всеми пятерками, потом идут в первый класс в новой форме и в новых ботиночках, еле тогда их достали, потом не ходят еще в школу, но и в садик тоже не ходят, с ними тогда было трудно, учатся завязывать шнурки, потом «р» выговаривать, учатся ходить, кто в годик, а кто только в полтора, у них режутся зубки, и от этого они температурят. С ними случается много смешных, даже комичных историй, и тогда женщины радостно улыбаются, а мужчины кивают головами и пытаются смеяться, а подчас истории бывают почти трагичные, и тогда лица женщин становятся строго-внимательными и у переносиц появляются, как ночные птицы, складки, а мужчины опять согласно кивают головами, но ни в коем случае не улыбаются, они серьезны...

Воспоминания о детях продолжаются и тогда, когда никто ничего не говорит, все убирают наскоро со стола, ставят кое-как еду в холодильник, и тогда, когда стелятся постели, молодым на своей широкой перинной кровати, выполняя тем самым неписанный закон: молодым для сна – лучшее место в доме, может быть, единственный закон, который соблюдается в России молча и с радостью, сватам – на кровать-диване, а себе на полу.

Воспоминания о детях продолжаются, когда свет уже потушен, на кровать-диване и на полу. И детей в тех воспоминаниях уже нет, а есть совсем другое, о чем в обычные дни не вспоминают. Они проходят, наверное, потому что рядом, опрокинувшись на спины и задрав головы, лежат мужья, их на всю жизнь мужчины, и совсем неважно, что они храпят и своим храпом не будут давать спать всю ночь.

Они – живут, и им никто и ничто в этом мире не может помешать, они так хороши – воспоминания о детях...

И только на широкой и доброй перинной кровати, оживший от близости молодой жены, муж что-то шепчет громко и однообразно ей на ухо и притягивает к себе неожиданно сильными руками родное и теплое тело, а она устало и неохотно сопротивляется...

13 июля 1978

Встречи с отцом

Встречи с отцом проходили в последние годы почти одинаково: они забывали о детях и женах, старались всё остаться вдвоем и, оставшись вдвоем, торопливо пили и кое-как закусывали. Можно было, конечно, пить за столом вместе со всеми, с женами и родней, с хорошей закуской и хорошими разговорами, с расшалившимися детьми, и они сидели вместе со всеми, хорошо пили и закусывали и сами пьяно шалили с детьми, спорили незло с женами и смотрели время от времени в экран телевизора...

Но потом, дождавшись, когда все улягутся и уснут, приходили в одних трусах и майках в маленькую почти уже остывшую кухню и искали банку с самогонкой. Вся водка была выпита днем, а с вином, которое не допили женщины, мешать не хотелось. Поэтому они находили припрятанную матерью банку, вытаскивали из стола пластмассовую хлебницу, полную ломаных кусков хлеба, засохшую яичницу и порезанное толстыми ломтями сало, садились на табуретки, наливали по половинке стакана и выпивали. Самогон был тепловатый и вонючий: мать не умела хорошо гнать, делала это всегда по случаю гостей и выставляла на стол, если только не хватало купленной. Сын пил медленно, почти мучительно, процеживая жидкость сквозь редкие зубы, и, выпив наконец, хватал со стула кружку, глотал жадно воду и все равно долго потом не мог отдышаться. Отец не любил видеть пьющего сына. Сам он пил спокойно, с чувством уважения и одновременно пренебрежения к спиртному. Пренебрежение выражалось в том, что, как правило, последнюю каплю он цыркал сквозь зубы на пол. Дурная привычка, за которую все время ругала его своя жена и косо поглядывала жена сына. Потом они закусывали молча, неторопливо – знали, что времени впереди много, поговорить успеют обо всем.

Свой главный вопрос отец не задавал за общим столом, может быть, ждал вечера. И теперь, закусив и помолчав немного, он спрашивал, задавал этот свой главный вопрос.

– Да... ну и как там у тебя дела на работе?

Прошло уже лет десять, как сын начал работать после учебы в университете, а он все будто не верил, что сын его – журналист и работает в газете под Москвой замредактором, хотя ему только тридцать недавно исполнилось. Да и не то чтобы не верил, что сын – журналист и работает в газете под Москвой замредактором, хотя ему только тридцать недавно исполнилось, просто хорошо отцу было знать и видеть перед собой сына, журналиста, замредактора из газеты под Москвой, а ведь ему только тридцать недавно исполнилось.

– Да как, – отвечал сын, подумав, хотя знал, что именно этот вопрос будет задан, пожимал плечами и продолжал: – Нормально, как еще может быть на работе?

Но отец знал, что нормально на работе быть не может – на то она и работа, тем более такая, как у сына. Он не подгонял сына, знал, что сразу на такой вопрос не ответишь. Сын молчал, накалывал на вилку засохший кусок яичницы и медленно его жевал.

После первой здесь на кухне поздно вечером они как-то трезвели и разговаривать не то чтобы трудно было, просто рано было еще разговаривать. Тогда они наливали по второй, опять по половине стакана, чокнувшись и сказав друг другу: «Давай!» – выпивали, и опять сын глотал воду, а отец цыркал на пол. Опять закусывали, но уже меньше. И отец, вытерев ладонью рот, спрашивал снова и знал, что теперь он ответ получит.

– Да, – говорит он как бы между прочим, – неизвестно, когда ваш редактор на пенсию пойдет?

– Кто его знает... – говорил сын равнодушно, думая о чем-то или просто пьянея. И вдруг он взрывался, протягивал к отцу свои худые бледные руки с растопыренными пальцами и чуть не кричал:

– Он сволочь, понимаешь, он – сволочь! Я нигде и никогда не видел и не слышал про таких сволочей!

Отец спокойно клал сыну руку на плечо, он знал почти наверняка, что так будет, и говорил, убеждающе глядя ему в глаза.

– Ну, ты успокойся, не расстраивайся.

А он, собственно, и не расстраивался, сказал просто о своем начальнике то, что думает, а спокойно сказать это не мог. Но отец все равно успокаивал, это было нужно и ему самому – успокаивать сына, и говорил, что их ох как много, таких начальников...

– Понимаешь, – опять возбужденно говорил сын, – это не просто сволочь, это... даже слов не подберешь, что это за человек! Он ничего не хочет делать... ладно, не делай... но ты дай работать другим! А то ведь придет, навалает, начиркает в рукописях, когда газета уже сверстана, чтоб не забывали, что он начальник... И бегом в райком, боится, что забудут его, не вылезает из райкома... – и сын прибавил злое непечатное ругательство.

Отец вновь клал сыну руку на плечо и успокаивал его. Сын, не замечая этого, старался высвободить плечо, продолжал:

– И вот что смешно – все же в районе знают, что он за человек, и ничего. И вида не подают!

– Ну, – перебил его отец нетерпеливо, – тебе не восемнадцать лет, а тридцать почти, сам все должен понимать... Помнишь, я тебе рассказывал, – и он начинал говорить о своей работе, о шахте, из которой он тридцать лет не вылезал, о начальниках своих, о Козлове. Сын слушал, слышал, вспоминал...

Он вспоминал, что отцова шахта стояла за соседним поселком, за садами и небольшим полем, на котором сеяли гречиху. Через поле бежала пыльная теплая тропинка, пчелы густо жужжали, и идти было немного страшновато. Еще страшнее было идти через Рабочий, где пацаны были злые и драчливые. Один раз они дали ему, как тогда говорили, – пендалей, а еще раз – бежали за ним до самой шахты. Но еще страшнее, самое страшное, было встретить на поле Козлова. Козлов не был Иван Григорьевичем или Григорьичем, или Козловым – мужчиной. Он был – Козлов. Так его все звали. Даже летом Козлов ходил в сапогах, галифе и защитного цвета телогрейке, да сверху еще в брезентовом, такого же цвета, плаще с капюшоном. На голове он носил похожую на военную фуражку. Он был низкого роста и казался горбатым оттого, что ходил всегда подавшись вперед, сцепив за спиной длинные красные ладони. У Козлова был горбатый, крючком нос и отвислая нижняя губа. Глаз его никто никогда не видел, не знал и не задумывался – какие они. Козлова было видно издалека и можно было еще рвануть назад или лучше в сторону, в гречиху, и залечь там, пусть лучше пчела ужалит, но почему-то я не делал этого, а шел навстречу обреченно, чуть не плача от обиды. Козлов останавливался неожиданно, когда, казалось, уже не заметит и пройдет мимо. Но Козлов все замечал.

– Мальчик, – говорил он своим скрипучим резким голосом, – как твоя фамилия?... Зачем ты идешь на шахту? Нечего тебе там делать. Поворачивай и иди домой.

Поворачивал и шел домой. И потом, пригнанный так Козловым до самого дома, прятался за сараями и плакал, прижавшись лицом к стене, чувствуя лбом, носом, щеками ее шершавую, колючую поверхность, похожую на лицо отца...

– Нет, я говорю, – рассказывал отец, – нет, товарищ Козлов! По этой путевке ни ты, ни начальник шахты не поедете, и никто из вашей конторы не поедет, потому что не вас засыпало в шахте, а меня, и не вам ноги ломало, а мне! А если ты, Козлов, начальнику путевку отдашь, я тут же сажусь и в «Правду» пишу письмо! И что ты думаешь? Отдал ведь мне путевку, а не начальнику! Вот так... А ты говоришь: редактор...

Историю эту сын слышал много-много раз. Та поездка отца в Сочи была главной отцовской заслугой и гордостью, и он любил ее вспоминать больше, чем что-либо другое. Особое удовольствие доставлял ему рассказ о том, как он в санатории поправился на восемь килограммов.

– На восемь килограмм поправился! – говорил он и гордо выпячивал грудь.

Выпивали еще раз, и сын, даже не закусив, начинал рассказывать, как там у него дела и как там у него все получается. Вообще-то, у него с первым отношения неплохие, да только и он ничего с редактором сделать не может. У него, говорит, связи в обкоме. Только за счет связей и держится. Носит же земля подлецов!

Отец слушал, слышал, вспоминал. Он вспоминал, как они выбирались из лавы, шли через заросшую высокой травой территорию шахты, был июль или август, но день нежаркий, трава зеленая, высокая. Заходили в контору, сдавали, как положено, лампы-вольф и останавливались у крана с газированной водой. А здесь уже пацаны все кружки разобрали, стоят, дуют газировку.

– Ну как газировка, крепкая? – кто-нибудь из мужиков в шутку спрашивал.

– Ага, крепкая, – отвечал самый смелый из пацанов и вытирал рукавом слезы, выбитые газировкой.

Это были их пацаны. И он видел среди них такого же белобрысого своего сына, в майке, шароварах и стоптанных материнных тапках, тапки тогда не могли ему купить, не было их нигде.

– Да дело не в редакторстве, понимаешь, не в редакторстве, пусть им кто угодно будет, лишь бы только умный человек был и деловой! Надоело уже так работать!

Потом они выпивали еще и ничего не говорили уже и ничего не слышали, а только видели.

Отец видел сына. Сын видел отца.

Отец видел сына. Он сидел на табуретке, поджимая под себя голые ноги, сутулился, как всегда, за это он его еще в школе ругал, да так и не исправился. А худой какой... Все вытянула из него эта работа. И залысины какие большие, прямо лысый, и очки эти с разбитым стеклом. Сынок...

Сын видел отца. Вроде все тот же. Не меняется... Нет, меняется, стареет, морщин вон сколько у глаз. А так все тот же. Голова эта большущая, фуражку шестидесятый размер носит. Глаза как будто светлее стали, и жилки красных на щеках и шее больше. Старее. Отец...

Они что-то говорили и не слышали друг друга, потому что каждый думал о своем. О своем отце. О своем сыне.

Отец рассказывал про свою теперешнюю работу, про то, как он дачи стережет, про собаку лохматую, как волкодав, ее все пацаны боятся. Как увидят – бежать скорее. А все равно клубнику у одних обобрали, поросята. Ночи лунные сейчас, теплые, хорошо.

Сын про своего сына рассказывал, совсем учиться не хочет, по всяким кружкам ходит только. Мать его и в музыкальную школу, и на фигурное катание записала, а не видит, что он читает плохо и не интересуется ничем. Поговорили о женах, и отец рассказал сыну, как он однажды устроил своей жене, матери его, хороший нагоняй, так она с тех пор зареклась свою линию гнуть, и сын кивал согласно, только ведь они сейчас умные, чуть что – сразу в райком жаловаться бегут. И еще про что-то разговаривали, и еще, и наконец поднимались, отяжелевшие совсем от выпитого, и шли к своим женам, долго укладывались. Те просыпались или делали вид, что просыпались, и отворачивались возмущенные к стене. Отец и сын лежали молча на спинах, заложив руки за головы, вздыхали в тишине, сожалея, что не все успели сказать, и, одновременно заснув, начинали храпеть. В груди отца клокотала угольная пыль, он хотел вздохнуть в полную силу, но пыль не давала, цепко держалась внутри. Сын храпел тонко и немного смешно, словно подпевая отцу. И тогда все замирало...

Так вот и проходили встречи с отцом. Но им предшествовали уговоры жены, сборы, тяжелая дорога с детьми. Поезд приходил ночью. От станции добирались пешком. Он тащил сумки и вел за руку хнычущего сына, жена с дочкой на руках устало и нервно ругалась из-за того, что не отбил телеграмму. Потом был деревянный дом на двенадцать квартир, в котором не горело ни одного окна, пустой холодный подъезд и красная дощатая дверь с белой цифрой 3,

и стук в эту дверь три раза, и ожидание, и шорох за дверью, и торопливая ходьба, и слова матери «сейчас, сейчас», и звук ключа в замке, и глаза матери с отцом, их теплые губы на щеках...

Вот и сейчас он стоял перед красной дощатой дверью с белой цифрой 3. Сейчас он постучит в нее три раза...

4–5 февраля 1977

Памяти моего отца

Заснул поселок Джеламбет,
в степи темнеющей затерянный,
и раздается лай затейливый,
неясно на какой предмет.
А мне исполнилось четырнадцать.
Передо мной стоит чернильница,
и я строчу,
строчу приподнято...
Перо, которым я пишу,
суровой ниткою примотано
к граненому карандашу.
Огни далекие дрожат...
Под закопченными овчинами
в обнимку с дюжими дивчинами
чернорабочие лежат.
Застыли тени рябоватые,
и, прислоненные к стене,
лопаты, чуть голубоватые,
устало дремлют в тишине.
О лампу бабочка колотится.
В окно глядит журавль колодезный,
и петухов я слышу пение
и выбегаю на крыльцо,
и, прыгая,
собака пегая
мне носом тычется в лицо.
И голоса,
и ночи таянье,
и звоны ведер,
и заря,
и вера сладкая и тайная,
что это всё со мной не зря.

Это старое стихотворение Евгения Евтушенко я прочитал впервые несколько лет назад и теперь повторяю про себя и вслух, когда почва под ногами делается зыбкой, когда размываются и меркнут жизненные смыслы. Я повторял его вперемежку с обрывками молитв, когда хоронил отца. Он умер в почтенном возрасте, как сообщалось в советских некрологах: «после долгой продолжительной болезни». Отец был простым человеком, некролога не заслужил, и когда на поминках я попросил соседей, бок о бок проживших с ним последние шестьдесят лет, вспомнить о нем, вышла заминка, повисла пауза.

– Да вроде и вспоминать нечего – работал и работал, – проговорил кто-то тихо.

...Мой поселок Джеламбет был и есть в Узловском районе Тульской области и называется Шахта 5/15, – мне тоже было четырнадцать, и я сидел в ночи за письменным столом в своей комнатке и строчил, строчил приподнято, правда не стихи, а заметки в районную газету «Знамя».

До первых петухов мой творческий процесс не дотягивал, но не потому, что не хотел или не мог еще писать, – после полуночи возвращался с работы отец, – гулко топоча в подъезде по дощатым половицам, привычно и предупреждающе покашливая. Он видел с улицы желтый свет настольной лампы-грибка в моем окне и, прощаясь с соседом, с которым шел со смены, говорил устало: «Мой опять не спит». И, войдя в нашу квартиру, произносил с порога тем же тоном: «Все сидишь? Спать ложись».

Отец был строгим. Я его побаивался. Торопливо раздевался, выключал свет, ложился в постель, закрывал глаза, но они открывались, и, глядя в светлеющий потолок, как в светлеющее небо, лежал неподвижно – вера, сладкая и тайная, что не зря, не зря все это, не давала заснуть...

Отец мой был шахтером. В нашем дощатом, двухэтажном, двенадцатиквартирном доме с сараями напротив и общим сортиром во дворе почти все мужчины были шахтерами: и живущий за стенкой отец моего друга Валерки дядя Сережа Мишнев и живущий под нами отец моей одноклассницы Томки, в которую я был влюблен, – дядя Сережа Едамов; и живущий со своей женой и тремя сыновьями дядя Саша Маков, а в соседнем подъезде – дядя Петя Кузьмин, и его сосед, отец моего главного врага Петьки дядя Миша Ермоленко, и живущий над ними дядя Володя Поздняков; и отец моего лучшего друга Серого дядя Петя Сычев, и их сосед дядя Саша Павлов... В нашем первом подъезде лишь в одной семье не было отца, но мать-одиночка тетя Ксения Никонова со своими двумя дочками Танькой и Наташкой работала в шахте маркшейдером... И только в двух семьях никто не спускался ежедневно под землю в гремящей шахтерской клети: жившие прямо напротив нас Рыбины да в соседнем подъезде, в седьмой квартире тетя Рая Картавенко. Дядя Слава Рыбин был инженером и работал где-то в Узловой, а его жена Галина Михайловна учительствовала в нашей школе, более того, в моем классе, что создавало определенные неудобства. Понизив голос и округлив глаза, мама почтительно и чуть-чуть протяжно про них говорила: «Ученые!»

Тетя Рая Картавенко была медсестрой и работала в больнице на Дубовке. В ее дочь, одноклассницу Галку, я был влюблен даже больше, чем в Томку...

Не будучи шахтерами, Рыбины и Картавенко имели, тем не менее, самое непосредственное отношение к жизни нашего по-своему уютного шахтерского мирка: Галина Михайловна учила детей шахтеров географии, тетя Рая лечила детей шахтеров от дизентерии и других кишечных заболеваний, что же касается дяди Славы Рыбина, то о нем хочется сказать особо, потому что вряд ли кто еще скажет... Он не был похож на наших отцов-шахтеров – мрачноватых, выпивающих, с неременной папиросиной в зубах, – не пил, не курил, не матерился, – общаясь с нами, детьми, не как с будущими людьми, а как с людьми настоящими... Он устраивал соревнования по бегу и бегал с нами сам, организовывал шахматные и городошные турниры, являясь и участником их, и главным судьей, справедливым и непререкаемым... Большелобый, рыжий, улыбчивый, одним своим видом муж нашей географички доказывал, что за дымящимися черными конусами терриконов, как сторожевые башни со всех сторон окружавшими наш поселок, есть другой мир – огромный, неведомый, прекрасный...

Но не только соседи – вся моя, живущая в ближних и дальних поселках, родня была шахтерской: мой крестный дядя Петя Сорокин, а также крестная тетя Лена – родные брат и сестра моей мамы, муж тети Лены дядя Коля Исаченков, закончивший с отличием летное училище, но из-за военных грехов своего брата не допущенный властями в небо и спустившийся в шахту, еще один дядя Коля – Сорокин, самый младший брат моей мамы, и наконец сама моя мама, она ведь тоже была шахтеркой. Одно время они с отцом даже работали на одном участке: отец – навалыщиком, наваливал совковой лопатой уголь в вагонетки, а мать – откатчицей, откатывала их, нагруженные до верха.

– Как откатывала? – спросил я как-то.

– Ну как? – смущенно улыбулась мама. – Спиной упрешься в стенку или в стойку, а потом плечом и толкаешь, толкаешь...

О шахте и о войне она рассказывала вполголоса и со смущенной улыбкой, как будто речь шла о чем-то стыдном, недопустимом... Буквально за несколько лет до своей смерти мама рассказала вдруг, что работала в шахте беременная мною уже на девятом месяце.

– Декретный был месяц до родов и месяц после. Так не отпускали, неделю пришлось переходить... – проговорила она с досадой и глянув на меня виновато, а я улыбулся – глупо, но не без гордости, как будто в том была моя какая-то заслуга, тоже мне шахтер внутриутробный...

Закончив журфак МГУ, в качестве газетного корреспондента я спустился однажды в ту шахту, где работали отец с матерью, и подумал, что, наверное, так выглядит ад...

Когда говорят о шахтерских краях, имеют в виду Донбасс или Кузбасс, и это правильно, это справедливо, но был еще не край – краюшка, мало кому известный Подмосковский угольный бассейн, где, без сомнения, родилось гордое и горькое, как советская жизнь, двестишестое:

Даем стране угля,
Хоть бурого, но до ...

Уголек наш и впрямь был неважнецкий: чтобы протопить зимой печку в большой комнате, я притаскивал из сарая четыре ведра серовато-черных влажных калмыг, выгребал затем два ведра золы, называемой у нас нажигой. Когда наши шахтерики заговаривали о донецком угле, их глаза начинали светиться доброй завистью. Донбасс с его антрацитом, солнцем, фруктами и дружным незлобивым народом представлялся мечтой, которой не суждено сбыться, у каждого свой уголек, у каждого своя родина...

...Километрах в двухстах-трехстах на юг от Москвы шахты начали строить чуть ли не в конце войны, чтобы натопить зябнущую столицу, подманивая и сгоняя народ со всей страны: фронтовиков, призывников, уголовников, деревенских парней и девок. Мама приехала из своей Калужской Березовки в новых лаптях, которыми поперву очень гордилась, отец очутился в шахте вместо службы в армии – солдат в стране было с лихвой, а шахтеров не хватало. Отец рассказывал, что среди шинелей и бушлатов чуть ли не единственным видом гражданской одежды были ватные телогрейки – с прямыми карманами и с косыми.

С прямыми имелись у многих, а с косыми – у избранных, как сейчас сказали бы – у крутых, и, по тому, как отец это рассказывал, я понял, что ему так и не удалось покрасоваться в ватной косухе.

В советской табели о рангах профессий шахтерский труд был на одном из первых мест, но когда однажды за праздничным хмельным столом кто-то из гостей спросил меня, кем буду, когда вырасту, и я, не задумываясь, шутки ради, ответил: «Шахтером», отец сложил свою, размером со штык лопаты, ладонь в обещающий много неприятностей кулак и, глядя недобро, показал его мне. Я не испытал силы отцовского кулака ни до того случая, ни после, но всегда его остерегался и больше так не шутил...

Не знаю, каким во времена молодости моего отца был тормозок у шахтеров Донбасса, а у наших – два ломтя черного хлеба, намазанных толстым слоем маргусалина – полутехнического жира, был скорее правилом, чем исключением.

Да, в шахтерских семьях жили лучше, чем в остальных, но это была та еще жизнь. В нашей семье, где я был единственным ребенком, картошку жарили на подсолнечном масле, а у Поздняковых, у которых было четверо детей, ее, родимую, жарили на том же проклятом маргусалине, а то и просто на воде. Сам слышал и помню, как тетя Дуся Позднякова, выкатывая свои лупастые глаза под толстыми линзами круглых очков, громко и радостно доказывала внимающим соседкам: «Отлично на воде жарится!» Её муж, дядя Володя, длинный, лысый, без-

злобный, приходил к нам время от времени просить «лезвичек», которыми отец уже несколько раз побрился. Лезвия назывались «Нева» – кто ими брился, понимает, о чем я говорю.

Раз в месяц в получку отец покупал бутылку водки и выпивал ее в гордом одиночестве, с сочувствием рассказывая о своем напарнике по работе, у которого была большая семья и он мог позволить себе только четвертинку, которую выливал в тарелку, крошил хлеб и хлебал ложкой...

Относясь к своей профессии, как к почетному ярму, наши отцы не желали нам подобной участи, и никто из друзей моего детства шахтером не стал, если не считать Сашки Павлова, самого сильного и самого доброго парня в нашем доме, который оттрубил до пенсии на глубинных воркутинских шахтах, может потому, что отец его, дядя Саша, не догадался показать сыну кулак, а может потому, что у Сашки кулаки в два раза больше отцовых...

К тому времени, как мы подросли, шахты стали вырабатываться, закрываться, терриконы остывали, круглели и горбились, как стариковские спины, между ними не ползал уже шумный пытящий паровоз с парой-тройкой груженых углем вагонов, и перед ним не бежал, старательно работая локтями и коленями, местный дурачок Бибика, оглашавший окрестности пронзительным назабываемым «Би-би-и-и-и-!!!».

Я тоже не стал шахтером, о чем нимало не жалею, я бы просто не выдержал того ада труда, не вынес бы той жизни, но благодарная память о шахтерском детстве во мне живет, и я никогда не забуду, что День шахтера отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа – то был самый большой, самый радостный, самый главный наш праздник, праздник отцов, матерей, детей, чуть не сказал – стариков, но нет – стариков в наших местах тогда не было, совсем не было... Так вот – праздник!

С утра мы, дети, тщательно выметали полынными вениками всегда какой-то замусоренный, истоптанный курами двор, после чего желтым песком из песочницы выводили на земле огромное, метров в десять длиной поздравление: «С днем шахтера!» (Один раз ошиблись, написали: «С днем шахтотера!» – ох и смеялись все потом!) Взрослые выносили из квартир столы, составляя их в один общий стол, готовя общее застолье, ставили, какая у кого была, еду и купленную вскладчину выпивку. Гуляли дотемна, до мохнатых живых звезд на теплом августовском небе – с песнями под гармонь, плясками, а иногда и с мордобоем – внезапным, шумным, отчаянным, но без серьезных последствий...

Никогда не забуду и наши мальчишеские походы в шахтерскую баню, когда мыться дома в корыте не было уже никакой возможности, – как, робея и смущаясь, смотрели мы на поднявшихся из забоя шахтеров, – как неторопливо и устало сбрасывали они с себя задубевшие заскорузлые полуистлевшие трудовые доспехи, снимали и стягивали мокрые от пота майки и длинные «семейные» трусы. У них были негритянские черные лица, такие же шеи и руки до локтя, а все остальное – болезненно белое, беззащитное, с послевоенными шрамами на спинах, груди, ногах и с послевоенными наколками, которые мы разглядывали с восторгом и завистью. Посматривая приветливо и снисходительно, шахтеры подбадривали нас, уступая место под горячим напористым душем, предлагая свои коричневые обмылки хозяйственного мыла. Они не были нашими отцами и не спрашивали, чьи мы сыновья, – в тот момент мы были их общими шахтерскими детьми...

А потом была шахтерская газировка в табельной – эта пепси-кола нашего детства, углекислоты в ней было больше, чем воды, она колола в горле, щипала в носу, заставляя одновременно смеяться и плакать...

И конечно, в моей памяти останутся наши с Серым и Валеркой многочасовые посиделки на вершине террикона на пятой шахте или на одиннадцатой, остальные были чужими, и там местные пацаны могли навалить, впрочем, нам не нужны были чужие – нам и своих, насыпанных трудом наших отцов хватало – с них был виден весь наш мир, вся наша шахтерская планета. Сидели до сумерек, до темноты, покуривая, постреливая из самодельных поджигных

пистолетов, смеясь, болтая о всякой чепухе, думая про себя о своей будущей жизни: таинственной, важной, прекрасной...

В моей памяти, да, потому что ни Серого, ни Валерки на этом свете уже нет...

Пожалуй, одним из самых счастливых дней моей жизни был день, когда сразу после окончания школы я, шестнадцатилетний, приехал в Москву поступать в МГУ с тяжеленным, набитым, как кирпичами, книгами чемоданом. И это неправда, что москвичи – черствые, заикленные только на себе люди! Они улыбались мне и охотно объясняли, как добраться до Ленинских гор. Накануне дома меня провожали. Мама не любила слез – чужих, а тем более своих – и была, как будто, раздражена моим отъездом. Ей не нравилась Москва и МГУ, она видела меня счетоводом на клавиатурной фабрике, построенной и открытой к тому времени на месте пятой шахты; женатым на Томке или Галке. Отец был бодр, суетлив, торжественен. На месяц безбедной жизни в столице мне было выделено шестьдесят рублей – их выдала мне мама, и отец сунул, подмигнув, трояк в момент, когда мама отвернулась.

Кажется, никто не верил, что я не вернусь, но я не вернулся. То есть возвращался много раз, но не насовсем – погостить. Это было безумие – без подготовки, связей, без английского, из хорошей, доброй, но шахтерской школы пытаться поступить на журфак МГУ, но я поступил и то ли на третьем, то ли на четвертом курсе, на журналистской практике на Дальнем Востоке, в Хабаровске, почувствовав внутри себя радостную и тревожную потребность писать, сел за стол и за час или два, без единой пометки, написал рассказ. Он назывался «Отец мой – шахтер»... Рассказ удивил меня и озадачил. Позже, уже в Москве, я написал еще несколько рассказов из своего детства и даже киносценарий, так как очень любил кино и тайно мечтал в кино работать. Я почти не пытался их опубликовать, за исключением двух, они так и оставались в рукописях, согревая авторскую душу одним лишь фактом своего существования. Они же открыли мне закрытый для посторонних мир кино, когда их случайно прочитал Андрей Тарковский и взял учиться на Высшие сценарные и режиссерские курсы в свою мастерскую вместе с Сашей Кайдановским... Уехав в Италию, Андрей Арсеньевич так и не вернулся, и я его ни разу не видел, но почему-то думаю, что зацепил его именно «Отец»... Он любил отца, и отец, прекрасный русский поэт Арсений Тарковский, любил своего сына. С Арсением Александровичем, к слову, мне посчастливилось общаться, у меня есть даже надписанная им книга стихов...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.